

Роберт Вальзер

Якоб фон Гунтен

© Перевод Ю. Архипова

Многому здесь не научишься, учителей не хватает, и ничего-то из нас, мальчиков из пансиона Беньяменты, не получится, то есть в будущем все мы станем людьми очень маленькими и зависимыми. Учение, которым нас тут потчуют, сводится главным делом к тому, чтобы вдолбить нам терпение и послушание, две добродетели, которые не всегда, скорее крайне редко, обещают успех. Успехи на поприще душевного совершенствования? Положим, но что в них проку? Сыт ими не будешь. А я бы хотел быть богатым, разъезжать в карете, сорить деньгами. Как-то раз я признался в этом Краусу, своему однокашнику, но тот только презрительно пожал плечами и не удостоил меня ответом. У Крауса твердые убеждения, он крепко держит поводья, оседлав довольствование малым, а это тот конь, которым любителей галопа не приманишь. Правда, за то время, что я здесь, в пансионе Беньяменты, я и в себе замечаю загадочные перемены. И меня заразило это странное, до сих пор неведомое мне смирение. И я повинуюсь уже вполне сносно, хоть и не так истово, как Краус, который очертя голову несется выполнять любое начальственное приказание. Все мы, ученики, — и Краус, и Шахт, и Жилинский, и Фукс, и длинный Петер, и я, и так далее — все мы схожи в одном; мы абсолютно бедны и зависимы. Маленькие мы люди, маленькие настолько, что ни о каком достоинстве не может быть и речи. У кого в кошельке заводится марка, на того смотрят как на баловня-принца. И с жалостью — на того, кто, как я, тратится на сигареты. Мы носим форму. Это обстоятельство и унижает и возвышает нас в одно и то же время. Мы выглядим в ней, как невольники, и это, возможно, стыд, но мы выглядим в ней опрятно, и это отделяет нас от глубокого стыда людей, которые ходят хоть и в своем собственном, но таком грязном и рваном тряпье. Мне, например, очень приятно носить форму, потому что раньше, бывало, я никогда не знал, что надеть. Но и в этом отношении я для себя пока большая загадка. Быть может, во мне сидит совершенно дрянной и подлый человечиска. А может, во мне течет голубая кровь. Не знаю. Но одно я знаю наверное: в будущей жизни из меня выйдет такой симпатичный кругленький нуль. На старости лет я буду прислуживать молодым, самодовольным, дурно воспитанным грубиянам, или буду побираться, или просто погибну.

Собственно, дел у нас, учеников или воспитанников, крайне мало, заданий нам почти не дают. Мы только учим наизусть правила внутреннего распорядка. Или читаем книгу «Какую цель ставит перед собой школа для мальчиков Беньяменты?». Краус, кроме того, учит французский, самостоятельно, потому что ни иностранных языков, ни чего-либо подобного в нашей учебной программе нет. Урок у нас один-единственный, и он повторяется бесконечно. «Как должен вести себя мальчик?» Вот вокруг этого и вращается, в сущности, вся учеба. Знаний нам не дают никаких. Учителей, как я уже отмечал, не хватает, то есть господа воспитатели и педагоги спят или умерли, или делают

вид, что умерли, или окаменели, или еще что-то, но, во всяком случае, мы их не видим. Вместо учителей, почивших или по какой-то странной причине сделавших вид, что почили, нам преподает и нами управляет молодая дама, сестра директора пансиона, фройляйн Лиза Беньямента. На уроки в класс она приходит с маленькой белой указкой. Мы встаем, когда она входит. Садимся после того, как сядет она. Коротко, властно она трижды ударяет указкой по краю стола, и урок начинается. Что за урок! Но я бы солгал, если б назвал смешным то, чему она нас учит. Нет, фройляйн Беньямента скорее трогательна в своих наставлениях. Их немного, мы повторяем одно и то же, но вполне вероятно, что за всеми этими смешными, ничего не значащими пустяками кроется своя тайна. Да и смешны ли они? Во всяком случае, нам, мальчикам из пансиона Беньяменты, весело не бывает. И лица, и повадки наши очень серьезны. Даже Жилинский, хоть и совсем еще ребенок, смеется очень редко. Краус не смеется никогда, а если уж и не удержится иной раз, то быстро прекращает смех и потом сердится на себя за то, что впал в предосудительный тон. В целом мы, ученики, смеемся мало, то есть нам не до смеха. В нас нет ни требуемой для смеха раскованности, ни веселия духа. Или я заблуждаюсь? Господи, иной раз все мое пребывание здесь представляется мне сном самым престранным.

Моложе и меньше всех нас, воспитанников, Генрих. К этому юному существу неизбежно относишься с нежностью, причем без всяких задних мыслей. Как он затихает перед витринами купеческих лавок, самозабвенно разглядывая лакомства и товары! Потом обычно входит и покупает себе на семишник какие-нибудь сласти. Генрих совсем еще дитя, но он говорит и ведет себя как взрослый с хорошими манерами. Волосы его всегда безупречно причесаны на ровный пробор, что особенно вызывает мое восхищение, потому что сам я в этом важном пункте выгляжу неблестяще. Щебечет он, как нежная птичка. Рука так и просится к нему на плечо, когда разговариваешь или выходишь с ним на прогулку. У него осанка полковника при маленьком росте. Наверняка он ни разу еще не задумывался о жизни, да и зачем? Он очень благовоспитан, услужлив и вежлив, но всего этого не осознает. Да, он как птичка. Кроткий нрав его виден во всем. Только птичка могла бы так давать руку, если б умела, так ходить, так стоять. Все в Генрихе невинно, счастливо, безмятежно. Он, по его словам, хочет быть пажем. Говорит он об этом без какой-либо пошлой ухмылки, и в самом деле ему бы больше всего подошла роль пажа. Изящные чувства и манеры ведь должны к чему-то стремиться и, гляди-ка, у них есть точная цель. Что сделает с таким мальчиком опыт жизни? Осмелится ли умудренный опыт вообще приблизиться к нему? Не стушуются ли грубые разочарования перед лицом столь чуткой невинности? Впрочем, я замечаю, что он несколько холоден, сдержан, никаких порывов его душа не знает. Может статься, что он и не заметит многое из того, что могло бы его уничтожить, не почувствует многое из того, что могло бы развеять его беззаботность. Прав ли я? Кто знает... Но я очень, очень люблю предаваться таким наблюдениям. Способности к пониманию у Генриха не безграничны. В этом его счастье, которое надо лелеять. Если б он был принцем, я бы первым склонил перед ним колена и признал его власть. Жаль, что это не так.

Как глупо я себя вел, когда сюда прибыл. Больше всего меня возмутила лестница в подъезде. Хотя, в общем, лестница как лестница, на городских задворках всюду такие. Потом я позвонил, и какое-то обезьяноподобное существо открыло мне дверь. То был Краус. Но тогда я попросту принял его за обезьяну, я ведь не знал еще его выдающихся личных качеств, за которые теперь высоко его ставлю. Я спросил, могу ли я видеть господина Беньяменту. «Всенепременно, сударь», — сказал Краус и отвесил мне низкий, дурацкий поклон. Этот поклон страшно напугал меня, потому что я сразу подумал, что тут что-то нечисто. И с этого момента я стал считать школу Беньяменты надувательством чистой воды. Я вошел в кабинет директора. По сей день смех разбирает меня, как вспомню о том, что затем было! Господин Беньямента спросил, что мне угодно. Я, робея, объяснил, что хочу у него учиться. Он замолчал и погрузился в чтение газет. Бюро, за которым сидел господин директор, он сам, вышедшая мне навстречу обезьяна, дверь, которую она открыла, вот эта манера молчать, изучая газеты, — все это показалось мне в высшей степени подозрительным и сулящим погибель. Внезапно меня спросили о том, как меня зовут и откуда я родом. Я чувствовал, что погиб, потому что вдруг понял, что мне не выбраться отсюда. Заикаясь, ответил на поставленные вопросы, и даже осмелился подчеркнуть, что происхожу из очень хорошей семьи. Среди прочего я сказал, что отец мой — тайный советник и что я убежал из дома, опасаясь быть раздавленным его авторитетом. Директор опять помолчал. Я все больше проникался страхом, что меня обманут. Подумывал уже было о том, что, наверно, тайно прикончат, расчленят на кусочки. Тут директор спросил своим начальственным басом, есть ли у меня деньги, и я ответил, что есть. «Давай их сюда. Живо!» — приказал он, и я, как ни странно, сразу же повиновался, трепеща от ужаса. Я уже не сомневался, что попал в руки разбойника и обманщика, но, несмотря на это, покорно выложил на стол плату за учение. Как смешны мне теперь тогдашние ощущения! Деньги со стола словно ветром сдуло, и снова воцарилось молчание. Тогда я, набравшись геройской храбрости, попросил дать мне расписку и получил в ответ: «Шкетам вроде тебя расписок не выдают». Я был близок к обмороку, директор позвонил. И тут же ввалилась эта глупая обезьяна, Краус. Глупая обезьяна? Вовсе нет. Краус очень милый, приятный человек. Только тогда я не мог этого понять. «Вот это Якоб, новый ученик. Отведи его в класс». Не успел директор произнести эти слова, как Краус уже схватил меня за руку и поволок к учительнице. Какой ты, выходит, еще ребенок, коли боишься. Хуже всего ведет себя человек, когда он во власти недоверия и незнания. Так я стал воспитанником.

Шахт, мой соученик, человек удивительный. Он мечтает стать музыкантом. Говорит, что сила воображения помогает ему чудесно играть на скрипке, и глядя на его руки, я ему верю. Он охотно смеется, но потом вдруг конфузится и погружается в умильную меланхолию, необыкновенно преображающую и лицо его, и позу. У Шахта необычайно белое лицо и длинные тонкие руки, которые выдают его безмерные душевные страдания. Сложения самого щедедушного, он часто слегка подергивается, ему трудно сидеть или стоять спокойно. Он похож на капризную, взбалмошную девочку, чуть что надувает губы, как какая-нибудь кисейная барышня. Мы с ним любим поваляться у меня на кровати, не раздеваясь, не снимая ботинок, с сигаретой во рту, что, разумеется, против правил. Шахт

— большой охотник нарушать предписания, и я, по правде сказать, ему в этом, к сожалению, не уступаю. В такие минуты мы рассказываем друг другу всякие небылицы. Какие-нибудь случаи из жизни, то есть, конечно, из прошлого, а еще чаще выдумываем что-нибудь и вовсе несусветное. И тогда вокруг нас словно начинает звучать музыка, стены раздаются, в тесной и темной каморке вдруг появляются улицы, залы, дворцы, города, незнакомые люди и картины природы, грохочет гром, шелестят листья, кто-то смеется и плачет, и так далее. Но болтать с мечтателем Шахтом бывает занятно. Он все понимает, что ему ни скажи, и сам иной раз говорит умные вещи. И потом он часто жалуется, а я люблю, когда жалуются. Глядя на такого человека, можно почувствовать к нему глубокое сострадание, а в Шахте есть что-то, вызывающее сострадание, даже если он не говорит о печальном. Если благородное недовольство, то есть тоска по прекрасному и возвышенному, нуждается в каком-то пристанище, то в Шахте она нашла его себе в полной мере. У Шахта есть душа. Может, он художник по натуре, как знать. Он мне признался, что болен, и поскольку недомогание его не совсем приличного свойства, настоятельно просил меня молчать об этом, в чем я, конечно, поклялся, чтобы его успокоить. Потом я попросил показать мне его болячку, но тут он вдруг рассердился и отвернулся к стене. «Бесстыжий ты», — сказал он мне. Часто мы подолгу лежим, не говоря ни слова. Однажды я попытался потихоньку взять его руку, но он возмутился: «Ну что еще за глупости? Оставь». Шахт предпочитает общаться со мной, я, правда, не совсем в этом уверен, но в таких вещах это и не нужно. Сам я страшно привязан к нему, просто считаю его подарком судьбы. Разумеется, этого я ему не говорю. Разговариваем мы о пустяках, иной раз и о серьезных вещах, но высоких слов избегаем. В красивых словах столько скуки! Так вот проводя время с Шахтом в комнате, я понял, что мы, ученики школы Бенъяменты, приговорены к удивительному, иной раз по целым дням тянувшемуся безделью. Все-то мы лежим, стоим, слоняемся, либо занимаемся бог весть чем. Ради удовольствия мы с Шахтом иногда зажигаем в комнате свечи, что строжайше запрещено. Но именно поэтому нас так и подмывает сделать наоборот. Бог с ними, с предписаниями: свечи горят так таинственно, так красиво. А как выглядит лицо моего товарища, освещенное нежным красноватым пламенем! Когда я вижу зажженные свечи, я кажусь себе самостоятельным человеком. Вот сейчас непременно подойдет слуга и протянет мне шубу. Все это глупость, конечно, но у этой глупости красивая улыбка. У Шахта, собственно, грубоватые черты лица, но бледность, разлитая по всему лицу, скрашивает их. Нос слишком большой, и уши тоже. Губ почти не видно. Иногда, когда я разглядываю Шахта, мне кажется, что этому человеку предстоит ужасная жизнь. Как я люблю людей, которые вызывают во мне щемящее чувство сострадания! Это и есть братская любовь? Может быть.

В первый по прибытии день я вел себя чудовищно капризно, как настоящий маменькин сыночек. Мне показали комнату, в которой я должен был жить с другими, то есть с Краусом, Шахтом, Жилинским. Четвертым в этой компании. Все оказались тут — товарищи, господин директор, мрачно на меня глядевший, фройляйн. А я вдруг бросился на колени перед девушкой и запричитал: «Нет, нет, в этой комнате я не смогу спать! Мне здесь нечем дышать. Уж лучше я буду ночевать на улице!» Говоря все это, я крепко

обнимал ноги молоденькой наставницы. Она, казалось, рассердилась и приказала мне встать. На что я возразил: «Я встану только после того, как вы пообещаете поместить меня в более достойное помещение. Прошу вас, умоляю вас, фройляйн, пожалуйста, переведите меня отсюда, хоть в какую угодно дыру, только бы мне не оставаться здесь! Я не смогу здесь находиться. Я не хочу ничем обидеть своих товарищей и весьма сожалею, если уже это сделал, но спать в таком тесном помещении, да еще четвертым? Нет, это невозможно. Ах, фройляйн, умоляю вас». Она уже улыбалась, я заметил это, еще теснее прижался к ее ногам, продолжая сыпать скороговоркой: «Я буду очень послушным, я вам обещаю. Буду предупреждать все ваши желания. Вы никогда, никогда не посетуете на мое поведение». — «В самом деле? Никогда не посетую?» — спросила фройляйн Беньямента. «Никогда, даю вам слово», — отвечал я. Она обменялась взглядом со своим братом, господином директором, и сказала: «Прежде всего встань. Фу, какой льстец и попрошайка. А теперь пойдем. По мне, так можешь спать и в другом месте». Она отвела меня в комнату, в которой я теперь живу, показала ее мне и спросила: «Ну, а эта тебе нравится?» Я был настолько дерзок, что ответил: «Она слишком узка. И потом, дома у нас занавески на окнах. И комната залита солнцем. К тому же здесь только узкая кровать и умывальник. А дома комнаты полностью меблированные. Но вы не сердитесь, фройляйн Беньямента. Комната мне нравится, и я вам благодарен. Дома было более уютно, изысканно и красиво, но и здесь вполне мило. Простите, что я надоедаю вам этими сравнениями с домом и вообще несу всякую чушь. Комната очень, очень недурна. Правда, это окошко на самой верхотуре вряд ли можно назвать окном. И вообще, все похоже на крысиную нору или собачью конуру. Но мне здесь нравится. Неблагодарность и наглость с моей стороны — говорить все это, не правда ли? И может, лучше всего было бы лишиться меня этой комнаты, которая мне так нравится, и категорически настоять на том, чтобы я спал вместе с другими. Мои товарищи наверняка чувствуют себя оскорбленными. А вы, фройляйн, рассержены. Я ведь вижу. И глубоко сожалею об этом». В ответ она мне сказала: «Просто ты глупый мальчишка, и замолчи наконец». Но при этом она улыбнулась. Как глупо все это вышло тогда, в первый день. Мне было стыдно, и я до сих пор стыжусь, вспоминая, как недостойно вел себя. Спал я в первую ночь очень беспокойно. Снилось мне учительница. А что до комнаты, то теперь я бы не возражал разделить ее с одним или двумя товарищами. Чересчур бояться людей — в этом ведь тоже есть что-то от сумасшествия.

Господин Беньямента — великан, а мы, воспитанники, карлики рядом с ним, вечно чем-то недовольным. Когда повелеваешь и правишь целой стаей таких мелких существ, как мы, мальчишки, нельзя не впасть в состояние раздражения, однако добиться власти над нами — такое он не мог бы осилить ни в жисть, никогда. Нет, господин Беньямента мог бы достичь большего в другом деле. Такой Геркулес, как он, от столь мизерной задачи, как наше воспитание, только и мог, что спать наяву, то есть ворчать и надолго задумываться, читая газеты. О чем, собственно, думал этот человек, когда решился основать свою школу? В каком-то смысле мне жаль его, и это чувство лишь усиливает уважение, которое я к нему питаю. Вскоре после моего водворения тут, на второе, кажется, утро, между нами произошла небольшая, но довольно бурная сцена. Я вошел к нему в канцелярию, но не

успел даже рта раскрыть. «Выйди вон, — услышал я. — И попробуй снова войти в комнату как подобает воспитанному человеку». Я вышел и постучал, о чем поначалу совершенно забыл. «Войдите», — раздалось из кабинета. Я вошел и остановился. «Где поклон? И что нужно говорить, когда ко мнеходишь?» Я поклонился и проямлил: «Добрый день, господин директор». Теперь-то меня так выдрессировали, что это «добрый день, господин директор» идет у меня как по маслу. Тогда же я ненавидел эту приторно-подобострастную манеру, а другой не владел. То, что прежде мне казалось смешным и тупым, теперь я нахожу прекрасным и ладным. «Громче, негодяй», — воскликнул Беньямента. Приветствие «добрый день, господин директор» мне пришлось повторить пять раз. Только после этого он спросил, чего я хочу. Я, обозленный, сказал: «Здесь ничему не учат, и я не желаю здесь больше оставаться. А посему прошу вас вернуть мне мои деньги, и я подамся отсюда к чертовой матери. Где здесь учителя? Где учебная программа, в чем смысл учебы? Нет никакого смысла. Я не хочу здесь оставаться. И никто, никто не заставит меня торчать тут, в этом приюте тьмы и обмана. Я происхожу из слишком хорошей семьи, для того чтобы подвергаться здесь унижениям и оболваниванию. Я, правда, не собираюсь возвращаться к отцу с матерью, туда я не вернусь никогда, но уж лучше мотаться на улице и быть вечным рабом. Мне это нипочем». Так я говорил. Сегодня я корчусь от смеха, вспоминая о глупом своем поведении. Тогда же мне было не до смеха. Господин директор, однако, молчал. Я уже готов был бросить ему в лицо какое-нибудь оскорбление. Но тут он заговорил: «Внесенные денежные взносы не могут быть востребованы назад. Что же до твоего дурацкого мнения, будто здесь тебе нечему научиться, то ты заблуждаешься на сей счет: здесь тебе есть чему научиться. Изучи, прежде всего, свое окружение. Твои товарищи заслуживают того, чтобы по крайней мере попытаться познакомиться с ними. Поговори с ними. И советую тебе: не кипятись. Никогда не кипятись». Это «никогда не кипятись» он произнес словно откуда-то из глубины своего уже отвернувшегося от меня сознания. Даже закрыл глаза, чтобы дать мне понять, какой глубокий и кроткий смысл он вкладывает в эти слова. Продемонстрировал мне, насколько он отрешен от происходящего, и снова замолчал. Что мне было делать? Господин Беньямента опять обратился к своим газетам. У меня было такое чувство, будто мне смутно угрожает какая-то далекая гроза. Я низко, почти до самой земли поклонился тому, кто не обращал на меня больше никакого внимания, произнес, как было предписано, «до свидания, господин директор», щелкнул каблуками, вытянулся по стойке смирно, повернулся, то есть, нет, нашарил сзади рукой ручку двери и, по-прежнему глядя в лицо господину директору и не поворачиваясь, ретировался за дверь. Так завершилась моя попытка бунта. С тех пор не было никаких мятежных выступлений. Бог мой, я чувствовал себя просто побитым. Он побил меня, он, человек, как я подозреваю, с большим сердцем, он побил, а я даже не пикнул, даже не сморгнул и даже не обиделся на него. Мне только стало жаль — не себя, а его, господина директора. Я все время думаю о нем, о них двоих, о господине директоре и его сестре, о том, каково им жить вместе с нами. Что они там поделывают у себя в комнатах? Чем занимаются? Бедны ли они? Бедны ли брат и сестра Беньямента? В здании есть «внутренние покои». Я еще ни разу в них не был. Краус, вероятно, был, его выделяют за усердие. Но от Крауса не дождешься рассказов о том, каково там у них, в квартире

директора. Он только таращит на меня глаза, когда я об этом спрашиваю, и молчит. О, Краус умеет молчать! Если б я был господином, я бы взял Крауса в слуги. Но может, мне еще удастся проникнуть в эти внутренние покои. Что-то предстанет тогда моему взору? Может, ничего особенного? Нет, не думаю. По всему чувствуется, что поблизости есть что-то чудесное.

Но вот природы здесь нет, что правда, то правда. Здесь ведь большой город, и все как положено. Дома отовсюду были такие виды, куда ни глянь. Птицы, казалось мне, пели там круглые сутки. Ручьи не умолкали. Поросшая лесом гора величественно поглядывала на чистенький городок у своих ног. На расположенном поблизости озере, вечерами, катались в гондолах. Скалы и леса, холмы и поля были в двух шагах. Запахи, голоса. А улицы в городке были как дорожки в саду — красивые, чистые. Уютные белые дома, хитровато прищурясь, выглядывали из зелени садов. За решетками оград было видно иной раз, как прогуливаются по саду знакомые дамы, например фрау Хааг. Все это глупость, конечно, но природа — и гора, и озеро, и река, и водопад в кудряшках пены, и зелень, и всякий перезвон — без всего этого трудно. Гуляешь, бывало, как по небесному саду, куда ни глянь — всюду синее небо. Остановишься где-нибудь, приляжешь на травку или на мох и подолгу любишься небом. А елки, что так чудесно и сильно пахнут пряной смолой! Неужели я больше никогда не увижу тех елей на склоне? Впрочем, в том нет большого несчастья. Лишиться чего-нибудь — в этом есть какой-то аромат и какая-то сила. Дом при ратуше, в котором жил отец, не имел своего сада, но все вокруг было сплошным цветущим садом. Надеюсь, что я не испытываю тоски по нему. Глупости. Здесь тоже прекрасно.

У меня хоть едва пробивается пушок, но я все же время от времени бегаю в парикмахерскую бриться, лишь бы только вырваться на улицу. Не швед ли я, спрашивает меня помощник парикмахера. Американец? Тоже нет. Русский? Тогда кто же? Я люблю хранить ледяное молчание в ответ на такие вопросы с националистической подкраской, люблю оставлять в неизвестности людей, которые спрашивают меня о моих чувствах к отечеству. Или лгу, притворяясь датчанином. В некоторых случаях откровенность ведет лишь к обидам и навеивает скуку. Порою на этих оживленных улицах по-сумасшедшему светит солнце. А иногда все затянуто туманной сеткой дождя, что я тоже очень, очень люблю. Люди все вежливы, хотя я-то сам бываю чудовищно дерзок. Часто в обеденный час я просто так сижу на какой-нибудь лавочке. Деревья в сквере совершенно бесцветны. С какими-то неестественным и оловянными листьями. Впечатление такое, будто все здесь из железа и жести. Потом дождь снова набрасывает свою сеть на предметы. Раскрываются зонтики, катят по асфальту дрожки, спешат люди, приподнимают свои длинные юбки девушки. Видеть, как из-под юбок высовываются ноги, — в этом есть что-то жутковато-странное. Этакая женская нога в облегающем чулке, ее никогда не видно, а тут вдруг — на тебе. Туфли так красиво повторяют мягкую форму ног. Но вот снова солнце. Веет слегка ветерок, и снова вспоминается дом. Вспоминается мама. Плачет, должно быть, по мне. Почему я ей не пишу? И сам не знаю, просто не понимаю, но сесть за письмо не могу решиться. Да, не люблю отчитываться. Слишком уж глупо. Жаль, что так вышло, мне бы

больше подошли родители, которые меня не любят. Я совсем не хочу, чтобы меня любили, чтобы меня жаждали видеть. Придется им привыкать к мысли, что у них нет больше сына.

Оказать услугу человеку, которого не знаешь, до которого нет тебе дела, — какое в этом райское, небывалое наслаждение. К тому же, если разобраться, дело есть до каждого или почти до каждого человека. Взять хотя бы этих прохожих, ведь мне есть до них дело, это ясно. То есть это зависит от того, как ко всему относиться. Вот иду я по улице, светит солнце, и вдруг слышу, как под ногами у меня визжит собачонка. Наклоняюсь и вижу, что породистая тварь запуталась лапами в плетеной корзинке. Оказалась как в кандалах. Одно движение, и я помог ее горю. Тут подходит и хозяйка собачки. Увидев, в чем дело, она изъясляет мне свою благодарность. Легким движением я снимаю перед дамой шляпу и иду себе дальше. Ах, думает дама позади меня, какие еще есть воспитанные юноши. Вот и вышло, что я оказал услугу юношеству вообще. А как улыбнулась эта некрасивая, в сущности, дама. «Благодарю вас, сударь». Вот уже и в судари произвели. Что ж, сударь тот, кто умеет себя вести. А кого благодарят, того уважают. Кто улыбается, тот красив. Любая женщина заслуживает вежливого обращения. В каждой есть изюминка. Мне уже приходилось видеть прачек с походкой королев. Смешно, конечно, но факт. А потом показалось солнце, и я припустил бегом. В универмаг. Там я сфотографируюсь. Господин Беньямента хочет, чтобы я сдал ему свою фотокарточку. А еще я должен написать краткую, но правдивую автобиографию. Для этого потребна бумага. Стало быть, меня ждет еще одно удовольствие — писчебумажная лавка.

Мой товарищ Жилинский поляк. По-немецки он говорит с сильным, но приятным акцентом. Все чужеродное благозвучно, уж не знаю почему. Гордость Жилинского составляет электрическая зажигалка в виде заколки для галстука, где-то он себе ее раздобыл. С не меньшей, то есть даже большей охотой он чиркает и восковыми спичками. Ботинки его всегда вычищены до блеска. До странности часто можно видеть, как он приводит в порядок костюм, намазывает ваксой сапоги, чистит щеткой берет. Он любит смотреться в дешевое карманное зеркальце. Такие зеркальца есть у нас всех, хотя мы все далеки от тщеславия. Жилинский высок и строен, у него красивое лицо, обрамленное локонами, которые он не устает причесывать и приглаживать. Он говорит, что хотел бы ухаживать за лошадкой. Холить ее и лелеять, а потом ездить на ней — для него нет большей мечты. В духовном отношении природа одарила его не слишком. Остроумия в нем ни малейшего, не говоря уже об интуиции и тому подобных вещах. Все же он вовсе не глуп, разве что ограничен, но я не люблю применять это слово к своим товарищам. То, что я умнее их всех, приносит мне не одни только радости. Что проку человеку от мыслей и озарений, если они, как у меня, остаются втуне? В том-то и дело. Нет, нет, я вовсе не хочу кичиться умом перед своими товарищами, я только хочу во всем держаться правды. Жилинский будет счастлив. Женщины будут одаривать его своими милостями, он и теперь уже выглядит — как будущий любимец женщин. Лицо и руки его покрыты благородным светлым загаром, а глаза точно у пугливой серны. Обворожительные глаза. Вид у него словно у какого-нибудь барчука из глухой провинции. Его манеры отдают

поместьем, где возникает крепкий и обаятельный сплав городского и сельского, простого и изысканного поведения. Больше всего он любит праздно слоняться по оживленным улицам, я нередко составляю ему компанию — к возмущению Крауса, который всякую праздность ненавидит, преследует и презирает. «Что, опять предавались своим удовольствиям?» — спрашивает он нас, когда мы возвращаемся. О Краусе мне придется рассказывать подробно. Он самый исполнительный, самый старательный из всех нас, воспитанников, а исполнительность и старание неисчерпаемы и неизмеримы. Ничто не волнует меня так, как вид и аромат добродетели и законности. Всякая пошлость и зло быстро выветриваются, но постичь красоту прилежания и благородства труднее, зато и привлекательнее. Нет, пороки мало интересуют меня, куда меньше, чем добродетели. Надо бы теперь описать Крауса, но мне почему-то страшно браться за это. Щепетильность? С каких это пор? Надеюсь все же, что дело не в этом.

Я теперь каждый день хожу в универмаг, узнаю, не готовы ли фотографии. Всякий раз поднимаюсь на лифте на самый верхний этаж. Увы, мне нравится это катание, как и всякое пустое времяпрепровождение. Когда меня везет лифт, я себя чувствую как настоящее дитя своего времени. Знакомо ли это чувство другим? Автобиографию я все еще не написал. Стыдновато как-то писать правду о прошлом. Краус с каждым днем смотрит на меня со все большим укором. Это мне на руку. Люблю видеть, как сердятся милые люди. Больше всего на свете мне нравится вводить в заблуждение людей, которых я впустил в свое сердце. Это несправедливо, быть может, зато смело, а значит — оправданно. У меня это доходит до болезненных преувеличений. Так, мне кажется несказанно прекрасным умереть, глубоко обидев и намеренно оскорбив того, кто тебе дороже всего на свете. Вряд ли это может кто-нибудь понять, разве тот, кому ведома трепетная прелесть упрямства. Взять и сгинуть ради какой-нибудь шалой глупости. Разве к этому не стоит стремиться? Нет, конечно, не стоит. Но это все глупости грубого сорта. Вот, кстати, был со мной случай, чувствую, что не могу о нем умолчать. Еще с неделю назад было у меня десять марок. А теперь не осталось ни гроша. Зашел как-то в ресторан, где обслуживают дамы. Потянуло невероятно. Тут же подскочила какая-то девчонка и усадила меня на диван. Я уже догадывался, чем это должно было кончиться. Сопровитлялся, но вяло. Испытывал безразличие, но и еще что-то. Страшно нравилось ломать из себя перед этой девчонкой изысканного, снисходительного господина. Были мы совсем одни и, как водится, расшалились. Пили, конечно. Она то и дело бегала к буфету за напитками. Заголила ножку, показывая мне свои прелестные чулки, и я целовал их. Дуракам закон не писан. А она все вскакивала и подносила новое питье. И все бегом. Торопилась, видно, обчекрыжить дурачка на кругленькую сумму. Я-то видел ее насквозь, но мне нравилось, что она считает меня простаком. Странное извращение: испытывать тайную радость оттого, что замечаешь, как тебя надувают. А потом — сколько пленительного волшебства было в том, как все вокруг тонуло в ласковых волнах музыки. Девчонка была полькой, стройненькой, гибкой и восхитительно-порочной. Я подумал: «Прощай, мои десять марок» и поцеловал ее. Она спросила: «Скажи мне, кто ты? Ты ведешь себя как благородный». Я не мог надышаться ароматом, который от нее исходил. Она заметила это, и ей это понравилось. И в самом деле: каким нужно быть паршивцем,

чтобы шляться по значным местам, не испытывая любви и восхищения, которые только и могут оправдать банальность падения? Я соврал, что работаю на конюшне. Она не поверила: «О нет, для этого у тебя слишком хорошие манеры. Поздоровайся со мной». И я «поздоровался» с ней, то есть сделал то, что в подобных местах называют этим глаголом, чему она, смеясь, резвясь и целуясь, меня научила. Минуту спустя я очутился на улице, в вечеряющей тьме, без единого пфеннига в кармане. Как я теперь отношусь к этому происшествию? Не знаю. Но я знаю одно: надо снова раздобыть сколько-нибудь денег. Но как?

Почти каждое утро, на рассвете между мной и Краусом происходит словесная перепалка, которая начинается с шепота. Краус все надеется выгнать меня на работу. Он, возможно, не ошибается, полагая, что я не любитель раннего вставания. То есть вообще-то встаю я легко, но мне безумно нравится поваляться в постели чуть подольше, чем положено. Делать то, что запрещено, так приятно, что устоять невозможно. Я потому и люблю так всякое принуждение, что оно позволяет нарушать предписания, дарит радость неподчинения. Если б в мире не правил закон долженствования, я бы зачах, увял, умер от скуки. Да, меня нужно заставлять, понукать, увещевать. Для меня нет ничего милее. Все равно ведь хозяином положения остаюсь я сам. Я довожу морщинолобый закон до гнева, а затем улещиваю его. Краус воплощает в себе действующие в пансионе Беньяменты предписания, а потому мне доставляет удовольствие бросать вызов этому лучшему ученику. Жутко люблю всякую перебранку. Я бы заболел от скуки без свары, а для свары и поддразнивания Краус годится лучше всего. Он всегда прав: «Встанешь ты наконец, сурок несчастный!» Я же всегда не прав: «Минуту терпения. Встаю». Кто не прав, всегда призывает к терпению того, кто прав, в этом и вся наглость. Правота нетерпелива, неправота выказывает гордую, невозмутимую небрежность. Тот, кто истово стремится к порядку (Краус), всегда проигрывает тому (то есть мне), кто к требуемому порядку равнодушен. Я триумфатор, потому что лежу, а Краус весь трясется от гнева, потому что напрасно колотит в мою дверь и кричит: «Вставай же, Якоб! Вставай наконец! Господи, ну что за ленивец!» Ах, как я люблю тех, кто умеет сердиться! А Крауса легко рассердить. Это так прекрасно — и смешно, и благородно. Мы подходим друг другу. Возмущению должен противостоять грешник, иначе будет чего-то не хватать. Когда же я наконец встаю, то делаю вид, будто не знаю с чего начать. «Ну вот, а теперь он стоит разиня рот, вместо того чтобы пошевеливаться», — говорит Краус. Великолепно! Выханье брюзги мне дороже рокота лесного ручья, сверкающего на солнце в самое роскошное воскресное утро. Нет — люди, люди и только люди! Да, я живо чувствую, что люблю людей. Их глупость, их готовность впасть в раздражение мне милее, чем самые невероятные красоты природы. Мы, воспитанники, должны рано утром, до того как встанут господа, прибрать в классе и канцелярии. Делают это двое дежурных по очереди. «Вставай же! Скоро ты?» Или: «Все, терпение мое лопається». Или: «Вставай немедленно. Пора. Давно пора взяться за щетку». Как это забавно. А Краус, вечно злой Краус, как же он мне мил.

Снова я вынужден вернуться к самому началу, к первому дню. Во время перемены Шахт и Жилинский, которых я тогда еще не знал, помчались на кухню и принесли всем завтрак на

тарелках. Перепало и мне что-то, но мне есть не хотелось, и я не прикоснулся к еде. «Ты должен есть», — сказал мне Шахт, а Краус добавил: «Все, что на тарелке, должно быть съедено дочиста. Понял?» Помню, как меня неприятно резанули эти обороты речи. Я попытался пересилить себя, но не смог. Краус придвинулся ко мне, важно похлопал меня по плечу и сказал: «И знай, новичок, что правила предписывают съедать все, что дают. Без всякого зазнайства, которое у тебя скоро пройдет. Что, разве бутерброды с маслом и колбасой валяются на улице? А? погоди, голубчик, у тебя еще появится аппетит. А теперь ты должен съесть то, что у тебя на тарелке, ясно? В пансионе Беньяменты на тарелках не оставляют объедков. Так что давай, ешь. Живо. Не раздумывай и не кочевряжься. Все это у тебя скоро пройдет, поверь мне. Нет аппетита, ты хочешь сказать? Советую тебе им обзавестись. Не надо только задаваться, и он сразу появится. Давай-ка тарелку. На этот раз я помогу тебе доесть, хотя правилами это запрещено. Вот так. Видишь, как это делается? Вот и все. Фокуса нет никакого, это уж точно». Сцена была неловкая. Жующие мальчики вызывали во мне отвращение. А теперь? Теперь я съедаю все дочиста, как и все прочие воспитанники. Скромная трапеза даже доставляет мне радость, и мне никогда не пришло бы в голову пренебречь ею. Да, я был тщеславный зазнайка, которого неизвестно что оскорбляло и неизвестно что унижало. Просто все для меня было новым, а значит, чужим, и я был глупец, каких мало. Я и теперь глуп не меньше, но глупость моя приобрела изысканные, обаятельные манеры. А в манерах все дело. Любой тупица и невежда, если только у него есть вкус и умение держаться, не потеряв для жизни, он найдет себе в ней место даже скорее, нежели какой-нибудь напыщенный умник. Да, все дело в манерах...

Краус уже немало хлебнул до того, как попал сюда. Вместе с отцом, матросом, он плавал вверх и вниз по Эльбе на тяжелых угольных баржах. Намытарился вдоволь, пока не надорвал здоровье. Теперь он хочет стать слугой, настоящим слугой какого-нибудь господина, для чего как нельзя лучше подходит его простодушие. Слугой он будет замечательным, не только потому, что такова его внешность, нет, вся натура его скроена по этой мерке: предупредительность и смирение. Он слуга в лучшем смысле этого слова. Служить! Только бы Краус нашел настоящего господина, желаю ему этого от всего сердца. А то ведь попадаютсЯ горе-господа, мнимые начальники, которые не ведают толка в обслуживании совершенном, полном, безукоризненном. У Крауса есть чувство стиля, ему нужен граф, то есть именитая особа. Крауса нельзя заставлять работать как простого наймита или батрака. Он может представлять. Может одним выражением лица поддерживать определенный тон и достоинство определенной манеры, его поведением сможет гордиться тот, кем он будет нанят. Нанят? Да, так это называется. В один прекрасный день Крауса наймут, или он будет нанят. И он заранее радуется этому, и старательно учит французский, который с трудом влезает в его тугодумную голову. Есть, правда, у него одно огорчение. В некоей парикмахерской, как он уверяет, подцепил он скверное украшение, так сказать, венок из маленьких красных цветочков, проще говоря, красных точек, еще грубее и безжалостнее сказать — прыщиков. Что поделать, зло и в самом деле немалое, тем более что Краус собирается поступить на службу к знатному господину. Бедный малый! Меня-то, к примеру, его безобразные прыщики совсем не

смущают, я бы и поцеловать его мог, если на то пошло. Нет, правда — мне это все равно, я совершенно не вижу, просто не замечаю, что он некрасив. Я вижу на лице его отражение прекрасной души, а душа всего больше достойна любви. Но будущий господин и повелитель думает, возможно, иначе, вот Краус и втирает себе всякие мази на пораженные места. И зеркалом он пользуется так часто не из тщеславия, а чтобы наблюдать за процессом исцеления. Не будь этого несовершенства, он никогда бы не стал смотреть в зеркало, ибо природа никогда не производила существа более скромного и непритязательного. Господин Беньямента, который проявляет к Краусу живой интерес, часто спрашивает, как подвигается его лечение и скоро ли конец несчастью. Дело в том, что для Крауса выпуск не за горами, ему пора уже приискывать себе место. Я со страхом жду дня, когда он покинет школу. Только вряд ли это случится так уж скоро. Физиономия его еще потребует врачевания, о чем я сожалею и в то же время не сожалею. С ним я потерял бы так много. Поспешность приведет его, чего доброго, к господину, который не сумеет оценить его качеств, а я слишком рано лишусь человека, которого люблю, о чем он не догадывается.

Все это я пишу большей частью по вечерам, при свете лампы, за нашим большим столом в классе, за которым нам, воспитанникам, приходится так часто сидеть с более или менее тупым видом. Краус иной раз проявляет любопытство, пытаюсь заглянуть мне через плечо. Однажды я ему отрезал: «В чем дело, Краус, с каких это пор тебя интересует то, что тебя не касается?» Он рассердился, как и все те, кто попадает на тайных тропах ползучего любопытства. Иногда я до поздней ночи сижу один на скамейке где-нибудь в городском парке. Горят фонари, яркий электрический свет пробивается сквозь листву, как пламя пожара. Обстановка подогрета обещанием неизведанных тайн. Кто-то прогуливается взад и вперед. Какие-то шорохи скапливаются на отдаленных дорожках. Потом я возвращаюсь, находя дверь закрытой. «Шахт», — тихонько зову я, и товарищ, как уговорено, бросает мне ключ во двор. На цыпочках, поскольку поздние возвращения запрещены, я пробираюсь к себе в каморку и ложусь. И вижу сны. Часто мне снятся ужасные вещи. Раз мне приснилось, будто я бил по лицу маму, мою милую, далекую маму. Как я закричал и с каким ужасом пробудился! Ужас от мерзости моего поведения выгнал меня из постели. Я таскал святую за ее почтенные волосы и швырял ее наземь. О, только бы не вспоминать! Слезы сыпались из ее глаз, как искры. Совершенно отчетливо помню, как, растрескавшись, искривился ее горестный рот, как пластало ее страдание, запрокидывая навзничь. Но зачем восстанавливать в памяти эти картины? Завтра наконец мне придется написать автобиографию, иначе я рискую нарваться на строгий выговор. Вечером, около девяти часов, мы, воспитанники, всегда поем коротенькую вечернюю песню. Мы стоим полукругом у дверей, ведущих во внутренние покои, и ждем, двери раскрываются, на пороге появляется фройляйн Беньямента, одетая в белое, мягкониспадающее до полу платье, она говорит нам: «Спокойной ночи, мальчики», велит ложиться спать и призывает хранить тишину. После этого Краус выключает свет в классе, и с этого момента не должно быть слышно ни звука. Мы на цыпочках расходимся по комнатам и на ощупь ищем свои кровати. Все это крайне странно. А где же спят Беньямента? Фройляйн, когда

прощается с нами на ночь, похожа на ангела. Как я ее почитаю! По вечерам господина директора вообще не видно. Странно это или не странно, но как-то бросается в глаза.

Похоже на то, что прежде пансион Беньяменты пользовался более завидной репутацией. На одной из четырех стен в нашем классе висит большая фотография, на которой запечатлена многочисленная группа учеников одного из прежних выпусков. Вообще-то, наш класс оформлен весьма скупо. Кроме длинного стола да дюжины стульев, да большого стенного шкафа и другого стола, поменьше, да еще одного, тоже меньшего размера, шкафа, да старого дорожного сундука и некоторых других незначительных предметов, никакой мебели в нем нет. Над дверями, ведущими в таинственный мир внутренних покоев, в качестве довольно скучного стенного украшения подвешена полицейская сабля, а крест-накрест с нею — ножны. Над перекрестьем парит каска. Эта декорация выглядит как рисунок, иллюстрирующий здешние предписания. Или как скрепляющая их печать. Что до меня, то не хотел бы я получить в подарок такой хлам, благоприобретенный у какого-нибудь старьевщика. Два раза в месяц саблю и каску снимают, чтобы почистить от пыли, — работа, не лишенная приятности, хотя и довольно нудная. Еще из декораций имеются два портрета почившей императорской четы. Престарелый кайзер выглядит на удивление по-домашнему, а в его супруге есть что-то простецки-материнское. Нам, воспитанникам, часто приходится мыть класс теплой водой с мылом, так что все потом сверкает и дышит чистотой. Мы все должны делать сами, поэтому у каждого есть на этот случай, как у горничной, фартук; повязывая эту женскую принадлежность, мы все, без исключения, приобретаем вид самый смешной. И все же в дни таких уборок царит веселье. Натираем пол, надраиваем до блеска всякую всячину на кухне и в других местах, орудуя влажными тряпками и порошком, обдаем столы и стулья водой, начищаем дверные ручки так, что они сверкают, подышав на оконные стекла, проходимся по ним тряпкой; каждый получает свое маленькое задание, каждый делает что-то. В такие дни, когда мы скребем, чистим и моем, мы напоминаем добрых гномов из сказки, которые, как известно, по одной доброте своей делают за людей всю тяжелую черную работу. Все, что мы, воспитанники, делаем, мы делаем потому, что должны, но почему мы должны, этого никто не знает толком. Мы подчиняемся, не задумываясь о том, к чему поведет бездумное послушание, и беремся за эту работу, не рассуждая зачем и почему. Вот в один из таких-то авральных дней ко мне и подкатился с гнусными намерениями этот Тремала, самый старший среди нас, учеников. Он потихоньку встал сзади меня и своей отвратительной рукой (руки, которые это делают, всегда отвратительны) схватил меня за интимную часть, чтобы щекоткой доставить мне животное удовольствие. Я мгновенно развернулся и сбил с ног паршивца. Вообще-то я не очень силен. Тремала намного меня сильнее. Однако тут ярость дала мне силу неодолимую. Тремала поднялся с пола и бросился на меня, но в этот миг дверь отворилась и на пороге показался господин Беньямента. «Якоб, забияка, поди сюда!» — крикнул он. Я подошел к директору, и тот, ни слова не говоря, даже не спросив, кто начал, стукнул меня по голове и ушел. Я хотел было бежать за ним, хотел заорать, что он не прав, но сдержался, бросил взгляд на столпившихся мальчиков и снова принялся за работу. С Тремалой я после этого не разговариваю, он тоже избегает меня по известной причине. Но

раскаивается он или нет, мне это безразлично. Конфузное происшествие, как говорится, давно забыто. Тремала в прошлом успел побывать на морских кораблях. Человек он пропащий и, по-видимому, держится своих позорных утех. Кроме всего прочего, он туп чрезвычайно и потому не интересует меня. Тупой скабрёз — что может быть скучнее! Но одному я научился из всей этой истории с Тремалой: нужно постоянно быть начеку, оберегая собственное достоинство.

Часто я выбираюсь на улицу, и тогда мне кажется, будто я погружаюсь в дикий и фантастический мир. Сколько сутолоки и толкотни, стука на стыках! Там-тарарам, визг-лязг! Перемешано всего — куда там! У самых колес экипажей идут люди, дети, девочки, мужчины, элегантные женщины; старики, инвалиды; есть и такие, что идут с перевязанными головами. Цепочки лиц и экипажей сменяют одна другую. Электрические трамваи набиты людьми, как ящики игрушками. Омнибусы переваливаются как тяжелые, неповоротливые жуки. Есть машины как движущиеся смотровые башни. Люди сидят на высоких сиденьях и парят над головами всего, что идет, бежит, скачет, едет. Толпы людей, подобно водовороту, всасывают в себя новые толпы. Цокают копыта. Великолепные шляпы с перьями покачиваются в проносящихся мимо каретах. Вся Европа посылает сюда свои человеческие экземпляры. Знатность шествует впритирку к простому и низкому, люди куда-то идут, куда неизвестно, но вот они возвращаются, и это уже совсем другие люди, и никому не ведомо, откуда они. Кажется, напрягись — и ты разгадаешь их пути, а разгадывать их так приятно. А поверх всего этого — сверкает солнце. Солнечные зайчики перебегают с носков на носки и обратно. Ах, как одуряюще взблескивают кружева из-под юбок! В колясках, на коленях богатых старух, проезжают болонки. Колесом катятся навстречу груди, стянутые блузкой и платьем женские бюсты. А там опять длинный ряд глупых сигар в узких щелях на мужских лицах. И так сладко мечтать о других улицах, неизведанных, новых, на которых также кишмя кишат люди. По вечерам, между шестью и восемью, на улицах всего многочисленнее и элегантнее. В это время совершают променады сливки общества. Кто ты в этом потоке, в этом пестром и бесконечном коловращении людей? Иной раз закат слегка подмалевывает малиновый флер проплывающим мимо лицам. А когда все сереет, когда идет дождь? Тогда все превращаются в кукол, в марионеток, я тоже, конечно; и все торопятся, спотыкаясь точно во сне и чего-то ища, и, как видно, никогда не находят ничего ладного, путного. А ищут здесь все, все мечтают о богатстве, сказочном кладе. Спешат. Нет, они все владеют собой, но спешка, тоска, мука, тревога так и бьют из глубины вождедеющих глаз. А там снова все купается в лучах горячего полдневного солнца. Все засыпает — коляски, лошади, колеса, звуки. А люди бродят в беспамятстве. Высокие, будто падающие здания словно погружаются в дрему. Куда-то торопятся девушки, кто-то несет пакеты. Хочется кому-нибудь броситься на шею. Вернешься к себе, а там сидит Краус, насмешничает. Говорю ему, что надо-де и мир изучать хоть немного. «Изучать мир?» — говорит он, будто думая о своем. И ехидно улыбается.

Недели через две после меня появился в нашей школе Ганс. Настоящий крестьянский парень, прямо из сказок братьев Гримм. Он из мекленбургской глухомани, и от него так и

разит сочным цветущим лугом, коровником и конюшной. Высок, костист, кряжист. Говорит на чудесном, добродушно-ленивом крестьянском языке, и я люблю его слушать, хоть и зажимаю при этом ноздри. Не то чтобы от него исходил дурной запах. И все же чуткому носу, то есть носу культурному, развитому, душевно и духовно образованному, делается, не в обиду доброму Гансу будь сказано, неудобно. А он ничегошеньки не замечает, для этого у него, селянина, слишком здоровый, неиспорченный нюх, такие же слух и зрение. Тут что-то от самой земли, от самого нутряного нутра ее, если углубиться в этого парня, но углубляться-то в него и не следует. Потому что нечего тут делать глубокому смыслу. Не могу сказать, что я к нему равнодушен, нет, но он как-то далек от меня и — мало весит. Да, он невесом, потому что нет в нем ничего, что было бы трудно переносить, что вызывало бы сложные чувства. Крестьянский парень из сказок братьев Гримм. Что-то издревле немецкое и привлекательное, понятное и значительное даже и а самый поверхностный взгляд. С таким водить дружбу — дело самое стоящее. В будущем Ганс будет трудяга и не жалобщик. Заботы, тяготы, горести — он их и не заметит. Здоровая сила так и распирает его. К тому же он не дурен собой. Вообще-то, чудной я человек: в любом и каждом всегда нахожу что-то привлекательное, пусть самый пустяк. Что поделаешь, коли мне так по душе мои соученики, мои совоспитуемые.

Прирожденный ли я горожанин? Очень возможно. Меня трудно удивить, сбить с толку. Какой-то холод в душе удерживает меня от крайних волнений. На впечатления от провинции мне хватило недели. Хотя родился и вырос я в не бог весть какой столице. Городские замашки и повадки я впитал с молоком матери. В детстве я не раз видел пьяных мастеровых, плохо держащихся на ногах, горлающих во всю глотку. Когда я был еще совсем маленьким, природа представлялась мне чем-то далеким и недоступным, как небеса. Так что я вполне могу без нее обойтись. Нельзя ли обойтись и без бога? Думать, что добро, истина, красота спрятаны где-то в тумане, тихо-тихо и почтительно молиться ему со сдержанным пылом затененной души — вот к чему я привык. Помню, ребенком я видел однажды, как в луже крови лежит, весь в ножевых порезах, убитый фабричный рабочий из итальянцев. В другой раз, когда прогремело имя Равахоля,[10] молодежь заговорила о том, что и у нас скоро посыплются бомбы, и тому подобное. Ну да что вспоминать. Ведь я хотел совсем о другом рассказать, а именно о товарище моем Петере, о длинном Петере. Этот дылда очень забавен, он из Теплица, из Чехии, говорит по-чешски и по-немецки. Отец его — полицейский, а сам Петер проторчал в лавке у какого-то купца-канатчика, обучаясь у него ремеслу, но потом притворился полным, ни на что не годным недотепой и пентюхом, что, по-моему, презабавно. Он говорит, что при случае может объясниться и по-польски, и по-венгерски. Но здесь такого случая не представляется. Однако какие обширные познания! Петер наверняка самый глупый и беспомощный среди нас всех, что придает ему победительный ореол в моих неавторитетных глазах, потому что дураки мне всего симпатичней. Ненавижу напыщенных умников, щеголяющих знаниями и остроумием. Скабрешники и шуты для меня самый несносный народ. А как мил, в отличие от них, Петер. Уже то, что он так длинен — хоть складывай вдвое, в нем прекрасно, но еще прекраснее его доброта, которая постоянно внушает ему, что он рыцарь и что у него внешность странствующего искателя приключений. Обхохочешься. С языка у

него не сходят байки о якобы изведенном и пережитом. Что верно, то верно, однако — у Петера самая изысканная, самая элегантная трость на свете. И он не упускает случая погулять с ней по самым оживленным улицам города. Однажды я встретил его на улице Ф. Улица Ф.- это, надо сказать, восхитительный эпицентр здешней городской круговерти. Уже издали он стал махать мне рукой, кивать головой, вскидывать трость. Поравнявшись, посмотрел на меня с отеческой озабоченностью, словно хотел сказать: «Как, и ты здесь? Ах, Якоб, Якоб, рановато для тебя это, рановато». А потом простился со мной, как сильный мира сего, ни дать ни взять редактор крупнейшей в мире газеты, которому дорого его время. И вот уже его глупая круглая симпатичная шляпа затерялась среди множества других шляп и непокрытых голов. Растворился, как принято говорить, в толпе. Петер ровным счетом ничему не учится, хотя как раз ему, юмористу, это было бы необходимо. Он и в пансион Беньяменты поступил, должно быть, потому, что здесь можно блистать отменнейшей глупостью. Быть может, он станет здесь даже еще глупее, чем был, хотя, с другой стороны, почему бы его глупости и не развиться в полной мере? Я, например, убежден, что Петера ждет неприлично большой успех в жизни, и, странно, я желаю ему этого. Более того. Я предчувствую — и это утешительное, щекочущее, ласкающее предчувствие, что когда-нибудь именно такой вот человек станет моим господином, начальником, повелителем, ибо такие дураки, как Петер, просто созданы для того, чтобы занимать высокие посты, предводительствовать, процветать и командовать, а люди в известной мере умные, как я, вынуждены употреблять лучшие силы своей души на служение ему подобным. Я-то ничего не добьюсь в жизни. Предчувствие, которое это мне говорит, похоже на факт состоявшийся и непреложный. Господи, и у меня все-таки достает мужества жить дальше? Что со мной? Часто я пугаюсь себя самого, но это длится недолго. Нет, нет, я верю в себя. Но разве это не смешно?

О соученике моем Фуксе я не могу сказать другими словами, как только: Фукс скроен сикось-накось. Говорит он, как спотыкается, а ведет себя как огромная, принявшая облик человека космическая невероятность. В нем ничего нет трогательного, симпатичного. Знать о нем что-нибудь совершенно излишне и неприлично. Таких недотеп обычно презирают, а кто избегает этого чувства в отношениях с людьми, тот просто не замечает подобных типов, как какую-нибудь ненужную вещь. Да, он и есть вещь. О господи, неужели придется браниться? Я бы возненавидел себя за это. Все, хватит, поговорим о чем-нибудь более приятном... Господина Беньяменту я вижу очень редко. Иногда я захожу в канцелярию, кланяюсь до самого пола, говорю: «Добрый день, господин директор» и спрашиваю властелиноподобного, могу ли я выйти. «Ты написал автобиографию? А?» — спрашивает он. «Нет еще, — отвечаю, — но я напишу». Господин Беньямента подходит ко мне, то есть к окошку, перед которым я стою, и подносит к моему носу свой огромный кулак. «Ты научись дисциплине, парень, или... Или тебя ждет это, понял?» Я понял, я низко кланяюсь и исчезаю. Странно, но как же мне приятно дразнить и вызывать гнев властей предержащих. Может, втайне мне хочется, чтобы этот господин Беньямента приструнил меня? Может, дремлют во мне не укрощенные инстинкты?

Все, все возможно, в том числе и самое низкое и недостойное. Ладно уж, напишу я эту автобиографию. По-моему, господин Беньямента просто красавец. Какая у него великолепная каштановая борода... Великолепная каштановая борода? Да я спятил, наверное. Нет в директоре ничего ни красивого, ни великолепного. Но в его жизни угадываются тяжкие испытания, удары судьбы, и вот это-то человеческое, почти сверхчеловеческое и делает его прекрасным. Настоящие люди, особенно мужчины, никогда не отличаются красивой наружностью. Мужчина с действительно красивой бородкой может быть только оперным певцом или хорошо оплачиваемым начальником секции в универмаге. Красивы только мнимые мужчины. Разумеется, могут быть исключения, и возможна настоящая мужская красота. Лицо и руки господина Беньяменты (а его руку я уже имел случай почувствовать) напоминают узловатые корни, корни, выдержавшие в недобрый час натиск безжалостного топора. Будь я знатной дамой с духовными запросами, я бы непременно вознаградила несчастного начальника пансиона, но, как я подозреваю, господин Беньямента вовсе не возвращается в обществе, где можно встретить подобную даму. Он по целым дням не вылезает из дома, он чувствует себя в нем, по-видимому, как в крепости, он пребывает «в затворничестве». О, как чудовищно одинок должен быть этот поистине умный и благородный человек! Какие-то события оказали свое тяжелое, может быть, губительное воздействие на этот характер, но что можно знать об этом? И тем более воспитанник пансиона Беньяменты? Что может знать он об этом? Но я не оставляю своих изысканий. Только ради них я и захожу в канцелярию со своим дурацким вопросом: «Можно мне войти, господин директор?» Да, этот человек задел меня за живое, он интересует меня. И учительница тоже вызывает у меня живейший интерес. Для того-то я и дразню его, чтобы хоть как-то распутать этот таинственный клубок, чтобы вырвать у него какое-нибудь неосторожное замечание. Пусть он даже поколотит меня, экое дело. Моя страсть накапливать опыт все равно сильнее, чем боль, которую может причинить мне ярость этого человека, лишь бы он проговорился, лишь бы унял мое алчущее любопытство. О, как я мечтаю о том, чтобы проникнуть в тайну этого человека! Да, до этого еще далеко, но я не теряю, нет, не теряю надежды, что овладею когда-нибудь тайной семьи Беньямента. Преодолеть волшебный соблазн тайны невозможно, она источает немыслимо прекрасный аромат. Как знать, как знать...

Люблю шум и непрестанное движение большого города. То, что всегда ускользает, внушает респект. Какой-нибудь вор, к примеру, наблюдая без устали копошащихся людей, непременно должен подумать о том, какой он негодяй, и кто знает, может, созерцание деятельности радостной и неугнетенной еще спасет его заблудшую душу. Хвастун может стать скромнее и серьезнее, увидев, сколько энергии употреблено на полезное дело, а какой-нибудь неуклюжий пентюх, заметив ладные движения стольких людей, поймет, как глупо он выглядит в своей самодовольной и закоснелой ограниченности движений. Большой город воспитывает и образует, причем на живых примерах, не то что учебник с его сухими правилами. Город не допускает никакой профессорской позы, и это льстит так же как отталкивает и угнетает надменное всезнайство. И потом, здесь столько всего, что поддерживает, поощряет и помогает. Сразу и не назовешь. Вообще, трудно назвать все хорошее и достойное. Здесь благодарен и

самой простой жизни, в суете, на бегу тихо благодаришь ее за то, что есть еще зачем бежать и суетиться. Кому некуда девать время, тот не ведает, что оно означает, тот закоренелый неблагодарный дурак. В большом городе всякий мальчик на побегушках знает цену времени и никакой разносчик газет не станет его понапрасну терять. А потом, сколько вокруг чудесного, как сон, сколько живописного, поэтического! Люди спешат и спешкой своей заражают друг друга. Спешат ведь не зря, это подзадоривает, подхлестывает бодрость духа. Приостановишься, раскрыв рот, а мимо тебя мчатся сотни людей, мельтешат сотни лиц, каждое из которых как укор тебе в том, что ты ленишься и упускаешь время. Спешке подвластны здесь все, потому что все убеждены, что нужно что-то успеть, чего-то добиться. Пульс жизни здесь бьется сильнее. Страдания и раны здесь глубже, радость долговременнее и мощнее, потому что заслужена и оправдана нелегким и унылым трудом. А в палисадниках здесь тишь, запустение, как в самых укромных уголках английского парка. Рядом же бурлит и клокочет деловая жизнь — с таким остервенением, будто нет и не было никогда на свете ни красот природы, ни грез. Грохочут железнодорожные поезда, сотрясая мосты. По вечерам зажигаются огни сказочно богатых и изящных витрин, а людские потоки, волны и змеи фланируют мимо прельстительных достижений индустрии. Да, все это кажется мне значительным и достойным. В этой толчее-суете делаешься богаче. Руки, ноги, грудь словно наливаются силой, когда стараешься благополучно и ловко пробраться сквозь этот людской лабиринт. Утром закипает новая жизнь, а вечером все отдается жарким и вечно новым объятьям небывалых мечтаний. В этом много поэзии. Фройляйн Беньямента, конечно, поставила бы меня на место, если б могла прочесть, что я здесь пишу. Не говоря уже о Краусе, который не видит разницы между городом и деревней. Он обращает внимание только, во-первых, на людей, во-вторых, на обязанности и, в-третьих, на те сбережения, которые собирается отсылать матери. Краус часто пишет домой. У него самые простые человеческие понятия. Лихорадка большого города со всеми ее иллюзорными обещаниями оставляет его равнодушным. Как правильно скроена эта человеческая душа — нежная и крепкая.

Наконец-то фотографии мои готовы. Они в самом деле удачны, я взираю на мир с большой энергией и упорством. Краус хочет немного позлить меня, он говорит, я похож на еврея. Наконец-то, наконец он смеется. «Краус, — говорю я, — ведь евреи-то тоже люди». Мы затеваем глубокомысленный и увлекательный спор о достоинствах и недостатках евреев. Диву даешься, как точно он обо всем судит. «У евреев все деньги», — говорит он. Я соглашаюсь и говорю: «Только деньги делают людей евреями. Бедный еврей — это не еврей, а богатые христиане, черт бы их драл, хуже всяких евреев». Он соглашается. Наконец-то, наконец он меня одобряет. Но вот он уж опять сердится и говорит мне самым серьезным тоном: «Ты бы болтал поменьше. Ну что это за рассуждения о евреях и христианах. Чушь все это. Есть только никудышные и стоящие люди, вот и все. А как ты думаешь, Якоб, к каким людям относишься ты?» Вот тут-то и начинается самый разговор. О, Краус любит поговорить со мной, я знаю. Добрая, чуткая душа. Не хочет только в этом признаться. Как мне нравятся люди, которые не любят ни в чем себе признаваться. У Крауса есть характер, этого нельзя не почувствовать. Автобиографию я все же написал, но потом снова порвал. Фройляйн Беньямента призвала

меня вчера быть внимательнее и послушнее. В моих представлениях я само послушание, сама внимательность, но, странно, на деле так не получается. Мыслию я добродетельно, но вот когда доходит до того, чтобы претворить сии добродетели в жизнь... Что тогда? Да уж, тогда все оказывается по-другому, и куда деваются добрые намерения. Я еще и невежлив к тому же. Преклоняюсь перед рыцарственной галантностью, но вот когда надо подбежать и открыть дверь перед учительницей, кто тогда остается сидеть за столом болван болваном? А кто вскакивает, как борзая, являя саму учтивость? Краус, конечно. Краус — рыцарь с головы до ног. В средних веках он был бы на месте, и можно лишь пожалеть, что ему не подвернулся какой-нибудь двенадцатый век. Он сама верность, сама услужливость, сама беззаветная и не лезущая на глаза предупредительность. Женщин он не оценивает, он их просто чтит. Кто молниеносно, как белка, кидается наземь и во мгновение ока подает фройляйн то, что она уронила? Кто стремглав летит за покупками? Кто ходит за учительницей по рынку с корзинкой? Кто вылизывает пол на лестнице и на кухне, не дожидаясь распоряжений? Кто, делая все это, не ждет благодарности? Кто так великолепно устроен, что находит радость в трате себя? Известно кто. Иной раз мне хочется, чтобы Краус побил меня. Но такие люди, как он, разве станут драться? Ведь Краус желает только справедливости и добра. Я совсем не преувеличиваю. Он просто не знает дурных намерений. В глазах его столько доброты, что страшно. Что делать такому человеку в этом падшем мире, построенном на лжи, лицемерии и притворстве? Стоит только взглянуть на Крауса, чтобы понять, насколько безнадежно положение скромности в этом мире.

Я продал часы, чтобы купить табаку. Без часов я могу прожить, а без табака нет, как ни прискорбно. Надо где-то раздобыть денег, а не то останусь вскоре без чистого белья. Жить не могу без чистых воротничков. Счастье человека не зависит от таких вещей, но по-своему и зависит. Счастье? Нет. Но нужно держаться приличий. Только в чистоте может быть счастье. Впрочем, я несу всякий вздор. Как я ненавижу правильные определения. Сегодня наша учительница заплакала. Почему? Посреди урока из глаз ее вдруг хлынули слезы. Это странным образом волнует меня. Глаз теперь с нее не спущу. Мне доставляет удовольствие прислушиваться к упорствующему безмолвию. Я напрягаю внимание, и это скрашивает жизнь, потому что без напряженного внимания вовсе нет жизни. У фройляйн Беньямента какое-то горе, это ясно, и горе, должно быть, немалое, ведь наша учительница умеет владеть собой. Мне нужны деньги. Кстати, автобиографию я написал. Вот что получилось.

Автобиография

Нижеподписавшийся Якоб фон Гунтен, сын законных родителей, родившийся тогда-то и выросший там-то, поступил учеником в пансион Беньяменты, чтобы обрести необходимые для слуги навыки. Вышеозначенный не питает иллюзий относительно будущей жизни. Он желает, чтобы с ним обращались строго, потому что ему хочется знать, что испытывает человек, когда его угнетают. Якоб фон Гунтен обещает не много, но он намерен держаться благопристойного поведения. Он происходит из древнего рода. В прежние времена фон Гунтены воевали, но теперь военный пыл их угас и они

поставляют тайных советников и коммерсантов, а самый юный отпрыск рода, о коем идет здесь речь, вознамерился и вовсе отказаться от надменных привычек. Он желает быть воспитанным самой жизнью, а не унаследованными правилами хорошего тона. Правда, он горд, так как не может отказаться от врожденных своих свойств, но он гордость понимает совершенно по-новому, соответственно времени, в котором живет. Он надеется, что окажется человеком современным, то есть неглупым, полезным, пригодным к службе, но он лжет, он не только надеется, он в этом уверен. Он упрям, ибо в нем живет еще необузданный дух его предков, но он просит указывать ему на проявления его упрямства, а если это не поможет, то и наказывать его, отчего, он уверен, будет толк. Вообще, к нему нужен умелый подход. Нижеподписавшийся полагает, что способен найти себя на любом месте, поэтому ему безразлично, что его заставят делать, он глубоко убежден, что любая тщательно исполненная работа даст ему больше чести, чем биение баклуш в родительском доме. Впрочем, никто из фон Гунтенов никогда баклуши не бил. Если предки покорно нижеподписавшегося поднимали рыцарский меч, то и их потомок действует традиционно, страстно желая приносить на любом поприще пользу. Его скромность не знает границ, если только поощрена его воля, а его служебное рвение подстегнуто честолюбием, заставляющим его с презрением относиться к неуместным и ложным представлениям о чести. Дома упомянутый поколотил однажды своего учителя истории, почтенного доктора Мерца, о каковом позорном деянии теперь сожалеет. Он не стремится ни к чему иному, как посредством самых суровых терний сломить высокомерие и надменность, которые, возможно, еще посещают его душу. Он немногословен и никогда не выдаст то, что ему доверят. Он не верит ни в ад, ни в рай. Благоволение того, кто наймет его, станет для него небесным утешением, а недовольство его господина испепелит его адским огнем, но он убежден, что он сам и услуги его будут приняты благосклонно. Твердое убеждение в этом придает ему мужество оставаться тем, кто он есть.

Якоб фон Гунтен

Я вручил свое жизнеописание господину директору. Он прочитал его, даже, по-моему, дважды, и с видимым удовольствием, потому что на губах его заиграло нечто вроде улыбки. Да, это факт, он улыбнулся, я наблюдал за ним, не спускал с него глаз. Наконец-то в нем забрезжило что-то человеческое. На какие выкрутасы надо пускаться, чтобы заставить улыбнуться того, кому хотел бы целовать руки. Я нарочно, нарочно описал свою жизнь с такой вызывающей гордостью: «На вот, читай! Ну что? Чешутся руки, чтобы швырнуть мне бумагу в лицо?» Такие у меня были мысли. А он себе улыбнулся хитро и тонко, этот хитрый и тонкий господин директор, которого я, увы, увы мне, почитаю больше всех на свете. И я все заметил. Первый раунд за мной. Сегодня я непременно что-нибудь учиню, а не то свихнусь от радости. Но почему плачет фройляйн директриса? Что с ней? Отчего я так странно счастлив? В своем ли я уме?

Надо теперь сообщить о том, что может вызвать сомнения. И все-таки это истинная правда. В этом огромном городе живет мой брат, мой единственный единоутробный брат, человек, по-моему, необычайный, зовут его Иоганном, он что-то вроде именитого художника. Ничего более точного о его делах я сказать не могу, потому что не был у него.

И не пойду. Встретимся мы на улице, и он узнает меня и подойдет, ну тогда другое дело, тогда я буду рад крепко пожать его братскую руку. Но искать такой встречи я никогда, никогда не стану. Кто такой я и кто он? Кто такой воспитанник пансиона Беньяменты — известно. Такой воспитанник — это круглый нуль и ничего больше. А кем стал мой брат, я не знаю. Может, его окружают образованные, воспитанные люди с безупречными манерами, а я уважаю манеры, условности и потому не стремлюсь в гости к брату, где меня, чего доброго, встретит этакий лощенный господин с принужденной улыбкой. Знаю я Иоганна фон Гунтена.

Такой же холодный и трезвый человек, как я, как все фон Гунтены. Но он намного старше, а разница лет ставит между людьми, и между братьями тоже, непреодолимые барьеры. Во всяком случае, я б не потерпел от него добрых советов, а как раз к этому, как я опасаясь, и свелось бы дело, если б он увидел меня, увидел, как я никчем и жалок; он, с высоты своего благополучия, дал бы мне почувствовать, какая я мошка, а я бы не стерпел этого, во мне бы разыгралась гунтеновская спесь, я бы надерзил ему, в чем потом только бы раскаивался. Нет, тысячу раз нет. Принимать милостыню из рук единокровного брата? Слуга покорный. Это невозможно. Представляю, как он изыскан, как он курит лучшие в мире сигареты, полеживая на уютных бургерских коврах и подушках. Каково? Ну и пусть себе утопает в роскоши и комфорте, во мне сейчас одно презрение к бургерской неге, я некомфортабелен до предела. Решено — мы не увидимся, быть может, не увидимся никогда! Да и зачем. Зачем? Ладно, оставим это. Ну какой же я осел, заговорил о себе во множественном числе, будто я тоже из этого самочтимого учительского клана. Брат мой, конечно, вращается в шикарных салонах. Мерси! О, благодарю покорно! Наверняка найдутся там дамочки, что просунут голову в дверь и презрительно скривят губы: «Кто это там еще? А? Опять какой-нибудь нищий?» Премного благодарен за подобный прием. Я не нуждаюсь в жалостливом сочувствии. Свежие цветы в комнатах! Терпеть не могу цветы. И эдакий флер светской небрежности. Отвратительно. Конечно, я бы с радостью повидал брата, но если б он предстал в таком довольстве и блеске, то мигом улетучилось бы чувство, что находишься с братом, и радость стала бы ложной, притворяться пришлось бы и мне, и ему. Так что увольте.

На уроках мы, ученики, сидим неподвижно, тупо глядя перед собой. Поковырять в собственном носу и то нельзя. Руки сложены на коленях, высовывать их запрещено. Руки — это пятипалые доказательства людской суетности и жадности, поэтому их и надлежит прятать под столом. Наши ученические носы пребывают в духовном родстве друг с другом — все они устремлены вверх, к сияющим вершинам многотрудной и запутанной жизни. А носы воспитанников должны быть приплюснуты скромностью, того требуют всенедранные правила, и в самом деле пригибающие наши нюхательные приборы в стыдливо-смирный наклон. Срезающие их словно бритвой. Глаза наши постоянно устремлены в бездумное ничто — также в согласии с правилами. Собственно, совсем без глаз было бы лучше, ибо глаза пытливы и дерзки, а пыливость и дерзость предосудительны с любой здравой точки зрения. Восхитительны наши, воспитанников, уши. От напряженного вслушивания они почти ничего не слышат. Они чуть подрагивают

от опаски, что сзади их схватит внезапная наставничья рука и потянет их ввысь и вширь. Бедные уши, какой они должны терпеть страх. Если до них долетают звуки команды или вопроса, то они начинают дрожать и вибрировать вроде арфы, испытавшей прикосновение. Случается, правда, что задремывают воспитанниковы уши, зато как, с какой радостью они потом пробуждаются! Пик дрессуры, однако, приходится на наш рот, который замкнут до самозабвенного отречения. И то сказать: обнаженный зев — не лучшее ли доказательство, что обладатель его скитается где-то вдали от того, чему внимает. Крепко спаянные губы свидетельствуют об отверстых ушах, поэтому сии двери под нашими ноздрями должны быть тщательно заперты на засов. Открытый рот — это пасть и ничего больше, каждый из нас это усвоил. Губы не должны выпирать и похотливо красоваться в удобном естественном положении, они должны быть сложены и энергично сжаты в знак решительного отказа от мирских благ. Все мы, ученики, сурово и жестоко, согласно правилам, обращаемся со своими губами, поэтому вид у нас свирепый, как у какого-нибудь вахмистра. Ведь хороший фельдфебель всегда делает такую свирепую мину, которую он желал бы видеть на лицах своих солдат, хороший фельдфебель всегда артист. И в самом деле: повинующиеся, как правило, выглядят точно так же, как приказывающие. Слуга простодушно перенимает ужимки и ухватки своего господина, он не может иначе. Наша милая фройляйн, однако, совсем не похожа на фельдфебеля, напротив, она часто улыбается, более того, смеется над нечеловеческой серьезностью нашего дисциплинарного рвения, но смеется напрасно, потому что выражения наших лиц неизменны, словно мы и не слышим, как звенит серебряный колокольчик ее смеха. Да, мы те еще экземпляры. Мы всегда чисто вымыты и гладко причесаны, у каждого на голове ровный пробор, как прямая нитка канала на смолянисто-черной или рыжевато-ржавой земле. Так положено. Пробор тоже предписан. Оттого, что у всех одинаковая прическа с одинаковым пробором, мы и выглядим все одинаково; какой-нибудь писатель, заинтересуй его наша малость, покатылся бы от хохота, если б взялся нас изучать. Так что пусть остается дома. Пустые балаболки те, что хотят только изучать, наблюдать, рисовать. Ты живи, а уж наблюдения составятся сами собой. Впрочем, наша фройляйн Беньямента так приветила бы этого щелкопера, буде занесло его к нам ветром, дождем или снегом, что его хватил бы удар от немилостивого приема и он брякнулся б в обморок. А она спокойно и величественно, как она любит, сказала бы нам: «Подите помогите подняться этому господину». И тогда мы, воспитанники пансиона Беньяменты, проводили бы непрошеного гостя до двери. И его писательское сверхлюбопытство отправилось бы ни с чем восвояси. Но все это фантазии. К нам заглядывают только господа в поисках слуги, а не люди с перышком за ухом.

Учителей в нашем пансионе по-прежнему не видно, либо они все еще спят, либо забыли о своих обязанностях. А может, они бастуют из-за того, что не получают жалованья? Странное удовольствие — воображать себе тех, кто застыл, погрузившись в дрему. Сидят на креслах или привалились к стене в какой-нибудь отведенной для отдыха комнате. Вот господин Вехли, что числится естественником. Даже во сне он не выпускает изо рта трубку. Жаль его, лучше б разводил пчел. Какие рыжие у него волосы и какие жирные, дряблые руки. А рядом с ним не господин ли это Блеш, глубокоуважаемый учитель

французского? Ну, конечно же, это он. И он лжет, притворяясь спящим, он вообще лжец. И уроки его всегда были одна сплошная ложь, одна пустая бумажная маска. Какое бледное и какое злое у него лицо! Плохое лицо, губы, как камень, а черты грубые, безжалостные. «Блещ, ты спишь?» Не слышит. Очень противный. А это... кто же это? Господин пастор Штрекер? Сухой и длинный, как жердь, пастор Штрекер, который ведет уроки религии? Да, черт побери, он собственной персоной. «Вы спите, господин пастор? Ну так продолжайте в том же духе. Это ничего, что вы спите. Вы тем самым пропускаете уроки религии, только и всего. А религия, знаете ли, немногого стоит в наше время. Сон куда религиознее, чем вся ваша религия. Когда спишь, приближаешься, может быть, к богу. Или как вы думаете?» Не слышит. Надо сунуться к кому-нибудь другому. Эй, кто это расположился тут со всеми удобствами? Вроде бы Мерц, доктор Мерц, что ведет римскую историю. Да, это он, узнаю его по бородке. «Вы, кажется, сердитесь на меня, господин доктор Мерц? Спите себе спокойно, забудьте недоразумения, которые имели место между нами, не теребите так нервно бородку. Кстати, вы правильно делаете, что спите. Ведь миром с некоторого времени правят деньги, а не история. Все те геройские доблести, коими вы сотрясаете воздух на уроках, давно уже не имеют значения, как вам известно. Впрочем, я благодарен вам за некоторые любопытные впечатления. Спокойного вам сна». А тут, я вижу, устроился господин фон Берген, мучитель детей фон Берген. Притворяется спящим, а ведь так и норовит с самым елейным видом огреть кого-нибудь по руке линейкой. Или скомандует: «Согнись!» — и влепит, что есть сил, указкой по оттопыренному задку. Элегантен, как парижский щеголь, но уж очень жесток. А это кто? Проректор гимназии Вис? Очень приятно. С теми, кто всегда прав, неинтересно. А это? Бур? Учитель Бур? «Я в восторге, что могу вас видеть». Бур был самым гениальным преподавателем арифметики на всем континенте. Для пансиона Беньяменты он не подходит, оригинальный ум, вольнодумец. Краус и прочие — неподходящие ученики для него. Слишком он незауряден и слишком требователен. Здесь, в пансионе, никто не соответствует таким требованиям. Но я, кажется, размышлял о том времени, когда был дома? Там, в гимназии, учителя пичкали нас знаниями, здесь все совсем другое. Другому учат нас, воспитанников, другому.

Скоро ли я получу место? Надеюсь. Фотографии мои и характеристики производят, как я полагаю, благоприятное впечатление. Недавно я впервые побывал с Жилинским в концертном зале кафе. Как трепетал он от смущения, просто трясся всем телом. Мне пришлось прямо-таки по-отечески его опекать. Кельнер, смерив нас взглядом, осмелился долго не подходить к нашему столику; однако после того, как я, напустив на себя ужасно строгий вид, выразил ему свое неудовольствие его нерадивостью, он незамедлительно вспомнил о вежливости и тут же принес нам светлое пиво в высоких, точеных бокалах. Да, надо уметь себя подать. Кто умело и вовремя выпячивает грудь, в том признают господина. Нужно учиться быть хозяином положения. У меня великолепно получается слегка откидывать голову, так, будто я не просто раздосадован, но удивлен дурным обращением со мной. Я смотрю вокруг с таким выражением, будто говорю: «Что такое? Что все это значит? Куда я попал?» Это действует. Кроме того, в пансионе Беньяменты я овладел осанкой. О, иногда меня охватывает такое чувство, что у меня достало бы сил

поиграть со всем, что ни есть на земле, в какие угодно игры. Мне вдруг открывается вся милая женская суть. Женское кокетство я нахожу презабавным, а их банальнейшую манеру говорить и двигаться — полной глубокого смысла. Не понять их в тот миг, когда они подносят чашку к губам или одергивают юбку, — значит не понять их никогда. Их души порхают в изящных сапожках на высоких каблуках, а их улыбка двояка: в ней и бессмысленная привычка и кусок мировой истории. Их надменность, их птичий разум очаровательны, они очаровательнее творений классиков. Нередко пороки их являют величайшую на земле добродетель, а когда они сердятся, когда они в гневе? Только женщины могут быть в гневе. Но чу! Милая мама. Как святыню берегу я в памяти минуты твоего гнева. Впрочем, молчание. Что может знать обо всем этом воспитанник пансиона Беньяменты?

Не сумел-таки с собой совладать, отправился в канцелярию, отвесил привычно низкий поклон и обратился к господину Беньяменте со следующими словами: «Господин Беньямента, у меня руки-ноги на месте, я хочу работать, поэтому обращаюсь к вам с просьбой найти мне работу, чтобы я мог зарабатывать деньги. У вас есть связи, я знаю. К вам ходит шикарная публика, люди с гербами на лацканах, офицеры с гремучими саблями, дамы с весело шуршащими шлейфами, чудовищно состоятельные старухи, и неулыбчивые миллионеры-старики, люди с положением и без рассуждения, люди, что подкатывают на автомобилях, — словом, вас знает весь свет». — «Не наглей», — предупредил он меня; не знаю сам почему, но я не испытывал больше страха перед его кулаками, я продолжал свою речь, слова вылетали из меня, как горох: «Непременно добудьте мне какую-нибудь стоящую работу. Впрочем, мнение мое таково: всякая работа стоящая. Я уже столь многому научился у вас, господин Беньямента». Он спокойно возразил: «Ты еще ничему не научился». Но я не дал себя сбить: «Сам господь повелевает мне начать трудовую жизнь. Но что такое бог? Вы мой бог, господин директор, от вас зависит, смогу ли я добиться денег и уважения». Помолчав, он сказал: «А теперь поди вон из канцелярии. Живо!» Я ужасно рассвирепел и закричал: «Я видел в вас выдающегося человека, но я ошибся, вы заурядны, как время, в которое вы живете. Я отправлюсь на улицу и на кого-нибудь нападу. Меня вынуждают на преступление». Вовремя распознав грозившую мне опасность, я отпрыгнул к двери и, выпалив: «До свидания, господин директор», выкатился в коридор. Там я замер, прикинув ухом к замочной скважине. В канцелярии, однако, царила мертвая тишина. Я пошел в класс и углубился в книгу «Какую цель ставит перед собой школа для мальчиков?».

Наша учеба состоит из двух частей, теоретической и практической. Обе части, однако, до сих пор кажутся мне одинаковым кошмаром, бессмысленной на первый взгляд сказкой, в которой скрыт в то же время непостижимый смысл. Учить наизусть — одно из главных наших занятий. Я запоминаю легко, Краус — с большим трудом, поэтому он всегда занят тем, что учит. В трудностях, которые ему приходится преодолевать, и состоит вся тайна его усердия. Память у него неповоротливая, и все же он, хоть и с большим трудом, запоминает все намертво. То, что он знает, словно бы выгравировано у него в голове на металле, того он не забудет. Выветриться из его головы не может ничто. Краус годится

только там, где нужно мало учить. Краус годится в пансион Беньяменты. Один из принципов нашей школы гласит: «Мало, зато основательно». За этот принцип Краус, которому досталась голова не из легких, держится обеими руками. Поменьше учить! Повторять одно и то же! Постепенно и я начинаю понимать, какой огромный мир скрыт за этими словами. Усвоить или присвоить что-нибудь накрепко, на всю жизнь! Я вижу, как это важно, а главное, как это правильно, как достойно. Часть практическая, или физическая, нашей учебы представляет собой занятия гимнастикой или танцами, подходят, пожалуй, оба слова. Войти в комнату, поздороваться, поклониться дамам — во всем этом мы упражняемся подолгу, до отупения, но и в этом, как я теперь замечаю и чувствую, скрыт глубокий смысл. Нас, воспитанников, хотят отформовать, а не напичкать нас науками. Нас воспитывают, принуждая до конца осознавать особенности нашего тела и нашей души. Нам дают ясно понять, что уже само принуждение и ограничение могут заменить образование и что в очень простых, по видимости глупых упражнениях содержится больше благодатного смысла и истинной мудрости, чем в запоминании множества терминов и понятий. Обычно же заполняют голову чем попало, так что всякое знание оказывается полужнанием. Мы не владем знаниями, напротив, то, чем мы, казалось бы, завладели, господствует над нами. Здесь же нам внушают, что лучше всего отдаться благотворному действию надежной и крепкой малости, то есть усвоить себе внешние приемы и обычаи, навсегда подчиниться им. Конечно, это оглушает и унижает. Но нас никогда не запугивают. Все мы, воспитанники, знаем, что униженность наказуема. Кто заикается или иным образом выказывает свой страх, тот подвергается насмешкам нашей фройляйн. Но мы должны оставаться маленькими людьми, должны знать, твердо помнить, что люди мы незначительные. Закон, что повелевает, принуждение, что ограничивает, а также неумолимые предписания, кои придают нам направление и навязывают свой вкус, — вот что является значительным, а не мы, воспитанники. Что ж, каждый из нас, включая меня, знает, что мы не более чем маленькие, бедные, зависимые, обреченные на послушание карлы. Мы и ведем себя соответствующим образом: с полным смирением, но в высшей степени уверенно. Все мы, без исключения, достаточно энергичны, потому что нужда, которую мы испытываем, побуждает нас твердо верить в ценность маленьких благ, которых нам удастся добиться. Вера в себя означает в нашем случае скромность. Если бы мы ни во что не верили, мы бы не знали, как мы малы. Все же, как мы ни малы, мы что-то собой представляем. Нам нельзя фантазировать, растекаться мыслью по древу, заглядывать за горизонт, и эти нельзя дают нам удовлетворение, делая нас пригодными для любого быстрого использования. Мы плохо знаем, как устроен мир, но мы узнаем жизнь, потому что будем отданы ее бурям. Школа Беньяменты всего лишь прихожая при жилых покоях и парадных залах жизни. Здесь мы учимся почтительности, учимся манерам, приличествующим тем, кто взирает на мир снизу вверх. Я-то, положим, смотрю на все с довольно высокой колокольни, что ж, тем полезнее для меня здешние впечатления. Как раз мне необходимо научиться почтительному и искреннему уважению к делам мира сего, ибо что со мной станет, если я буду презирать старость, отрицать бога, смеяться над законами и совать свой сопливый нос в сферы возвышенного, истинно важного и великого? По моему убеждению, именно этим страдает современное юное поколение, которое кричит караул и вопит благим

матом, как только речь заходит о том, чтобы хоть немного подчиниться закону, долгу, лишениям. Нет, нет, брат и сестра Беньямента для меня все равно что любимые путеводные звезды. На всю жизнь сохраню о них благодарную память.

Встретил брата своего, Иоганна, столкнулся с ним в уличной давке. Свидание вышло радостным, теплым, непринужденным. Иоганн вел себя очень мило, и я, вероятно, тоже. Зашли с ним в небольшой тихий ресторан, поболтали. «Оставайся, брат, таким, как есть, — сказал мне Иоганн, — начни с самого низа, это отличная идея. Если понадобится тебе моя помощь...» И на мой отрицательный жест продолжал: «Потому что наверху, выходит, теперь жить вовсе не стоит. Пойми меня правильно, брат, я — в переносном смысле». Я живо кивнул, потому что отлично понимал его, словно заранее знал, что он скажет, но все равно просил его продолжать. И он сказал: «Видишь ли, наверху воздух такой. Там царит такая атмосфера, что, мол, сделано уже достаточно, а это — как вериги и путы. Надеюсь все же, что ты не совсем меня понимаешь, потому что ты был бы монстром, если б уже меня понимал». Мы рассмеялись. Как приятно посмеяться так с собственным братом. Он сказал: «Ты теперь, конечно, круглый нуль, милый мой брат. Но в молодости и нужно быть нулем, потому что ничто так не портит, как это «кое-что значить» с младых ногтей. Разумеется, ты знаешь кое-что — для самого себя. Ну и превосходно. Браво. Но для мира ты никто, что тоже по-своему превосходно. Я все же надеюсь, что ты не совсем меня понимаешь, потому что, если б ты понимал меня полностью...» — «То я был бы монстром», — подсказал я. Мы снова засмеялись. Настроение было веселое. Меня будто охватывало какое-то странное пламя. Глаза мои горели. Вообще-то я очень люблю такую лихорадку. Кровь ударяет в голову. А мысли, одна возвышеннее и чище другой, так и теснят друг друга. Иоганн сказал: «Брат, прошу тебя, не перебивай. Твой жеребьячий смех глушит мысли. Ты лучше слушай. Мотай на ус. Это может тебе пригодиться. Самое главное: никогда не чувствуй себя отринутым. Этого просто нет в жизни, потому что в ней, может быть, нет ничего, чего стоило бы добиваться. И все равно ты должен добиваться, причем страстно. Но при этом, чтобы не впасть в роковую тоску, ты должен зарубить себе на носу: в жизни нет ничего, совсем ничего, чего стоило бы добиваться. Все — труха. Понимаешь? То есть, надеюсь, что нет, а то было бы страшно». Я ответил: «К сожалению, я слишком понятлив, чтобы не понять тебя. Но не бойся за меня. Ты совсем не напугал меня тем, что сказал». Мы улыбнулись друг другу. Потом заказали себе еще пива, и Иоганн, который выглядел очень элегантно, продолжал: «Имеется на земле так называемый прогресс, но это всего-навсего одна из тех многочисленных неправд, которые распространяют дельцы, чтобы самым бессовестным образом выколачивать из толпы деньги. Толпа — раб сиюминутности, а одиночка — раб все подавляющего обыденного сознания. В мире нет больше ни красоты, ни совершенства. Все это — и красоту, и добро, и справедливость — ты должен себе выдумать. Скажи-ка, ты умеешь выдумывать?» Вместо ответа я дважды кивнул, и Иоганн, которого я жадно слушал, продолжал: «Постарайся, прежде всего, научиться зарабатывать деньги — много денег. Деньги — это единственное, что еще не полиняло. Все прочее испорчено, урезано, изгваздано. Города наши исчезают с лица земли. Чурбаки отнимают пространство у домов и дворцов. Музыку заменяет бречанье. Концертные программы,

театр — все катится вниз от ступени к ступени. Есть еще, правда, так называемое избранное общество, задающее тон, но оно уже давно не в состоянии задавать тон достойного и хорошего вкуса. Есть еще книги... Одним словом, нельзя падать духом. Оставайся презренным бедняком, друг мой. И о деньгах забудь. Бедность прекрасна, бедность — самый большой триумф. Богатые, Якоб, всегда недовольны и очень несчастны. У современных богатых людей ничего нет за душой. Это настоящие доходяги». Я опять кивнул. Я, что правда, то правда, легко соглашаюсь со всеми. Но то, что говорил Иоганн, мне понравилось в самом деле. В его словах было много гордости и печали. Ну, а оба эти тона, гордость и печаль, хорошо звучат вместе. Мы опять заказали пива, и мой брат сказал: «Ты должен надеяться и в то же время знать, что надеяться не на что. Смотри на то, что выше тебя, тебе это подходит, ибо ты молод, ты дьявольски молод, Якоб, смотри, но и помни, что ты, в сущности, презираешь то, на что взираешь снизу вверх, да еще с таким почтением. Опять киваешь? Черт возьми, до чего ж ты понятлив. Просто елка, увешанная подарками, а не человек. Будь доволен, брат, добивайся, учись, стремись делать людям добро, быть ласковым с ними. Но мне пора. Когда мы можем увидеться? Ты заинтересовал меня, право». Мы вышли и простились на улице. Долго я смотрел ему вслед. Да, вот брат мой. Воистину. Как я этому рад!

У отца моего есть экипаж, и лошади, и слуга, старик Фельман. У мамы собственная ложа в театре. Как ей завидуют все женщины в городе с двадцативосьмитысячным населением! Мать, несмотря на вполне зрелый возраст, еще привлекательная, даже красивая женщина. Вспоминаю ее в светло-голубом, облегающем платье и с белоснежным зонтиком в руках. Солнце, погода по-весеннему великолепная. На улицах пахнет фиалками. Дамы и господа прогуливаются под звуки концерта, который дает им городская капелла, расположившаяся под зелеными купами деревьев в городском саду. Сколько прелести, сколько очарования! Журчит фонтан, вокруг него резвятся нарядно одетые дети. В ароматном воздухе легкие струи веют о чем-то неясном. Из квадратных окошек новых многоквартирных домов выглядывают люди. На руках матери длинные бледно-кремовые перчатки, на таких изящных, милых руках. Иоганна уже нет с нами. Но отец тут. Нет, никогда не приму я помощь (деньги) от нежно любимых родителей. Оскорбленная гордость меня бы сломила, и прощай тогда мечты о собственными руками сделанной жизни, прощай навсегда не дающие покоя самовоспитательные прожекты. Вот в чем все дело: чтобы воспитать самого себя или подготовиться к будущему самовоспитанию, я и поступил в эту школу Беньяменты, отдал себя во власть тяжкого гнета. По этой самой причине не пишу я домой, ибо и самое короткое сообщение о себе сразу бы все расстроило, сразу погубило бы мой план начать с самого низа. Все смелое и великое произрастает в тайной тиши, иначе оно быстро вянет, а уже занявшееся было пламя снова гаснет. У меня свои обо всем представления, и баста... Да, вот еще вспомнилось. Эта веселенькая история со старым слугой нашим, Фельманом, который и теперь еще жив и служит. А дело было так. Фельман однажды крепко провинился, и его должны были уволить. «Ступайте, Фельман, вы не нужны нам больше», — сказала ему мама. И тут старик, только что схоронивший сына, который умер от рака (невеселенькая история), бросился к ногам матери и стал молить ее о пощаде, буквально — о пощаде. В выпуклых глазах бедняги стояли слезы.

Мама его простила, а я на другой день рассказал обо всем приятелям, братьям Вайбель. Те подняли меня на смех и совершенно презирали меня. Просто-напросто разорвали со мной приятельские отношения, считая порядки в нашем доме чуть ли не роялистскими. Они стали бранить нас последними словами за эту сцену с мольбой о пощаде, бранить, как площадные хулиганы, но и как юные республиканцы, для которых нет большего ужаса и жупела, чем господское право дарить или отнимать свою милость. Как мне теперь все это смешно! И, с другой стороны, все это весьма показательно для хода времени. Так же, как эти распоясавшиеся Вайбели, судит теперь весь мир. Да, теперь терпеть не могут ничего господского. Давно уже нет господ, которые могли бы делать, что им заблагорассудится, и давно уже нет таких дам. Печалиться ли об этом? Не придет и в голову. Разве я ответствен за дух времени? Я принимаю жизнь такой, какая она есть, и только делюсь своими наблюдениями. Добрый Фельман, ему-то простили еще, как в старые дедовские времена. Слезы верности, давней приверженности, как они прекрасны...

С трех часов пополудни мы, воспитанники, фактически предоставлены самим себе. Никому больше нет до нас дела. Начальники укрываются во внутренних покоях, а в классе царит пустота. Пустота, от которой становится не по себе. Шуметь запрещается. Ходить можно только неслышно, на цыпочках, а говорить только шепотом. Жилинский смотрит в зеркало, Шахт смотрит в окно или жестами переговаривается с кухаркой в доме напротив, а Краус зубрит, бормоча про себя уроки. Кругом мертвая тишина. Покинутый двор застыл как четырехугольная вечность. Я большей частью упражняюсь в стоянии на одной ноге. Часто я при этом задерживаю дыхание. Тоже упражнение, причем, как мне сказал один врач, чрезвычайно полезное для здоровья. Или пишу. Или закрываю намотанные глаза, чтобы ничего больше не видеть. Через глаза пробиваются в нас мысли, поэтому я их иногда закрываю, чтобы не думать. Когда так сидишь и ничего не делаешь, то вдруг понимаешь, какая это нелегкая штука — жить на свете. Ничего не делать и не терять себя — это требует энергии, тому, кто трудится, много легче. Мы, воспитанники, в этом ремесле преуспели. Иные празднолюбцы, изнывая от скуки, начинают в нашем положении шалить, ерзать или зевать да вздыхать. Ничего подобного не происходит с нами. Мы сидим неподвижно, сомкнув губы. Недреманные предписания вечно витают над нашими головами. Иной раз, когда мы так сидим или стоим, открывается дверь и в класс медленно входит фройляйн, окидывая нас странным взглядом. Она напоминает мне тогда привидение. Будто она пришла издалека-далека. «Что вы тут делаете, мальчики?» — спрашивает она, но не дождавшись ответа, уходит. Как она красива! Какие роскошные смолянистые волосы! Глаза большей частью опущены. Они устроены у нее так, что их красивее всего опускать. Ее веки (о, я внимательно изучил ее) как две чудесные арки, легко взлетающие по ее воле. Эти глаза! Смотришь в них, как в бездонную, тревожную пропасть. Их сверкающая чернота, кажется, говорит о самом несказанном — и в то же время молчит о нем, поэтому они кажутся то знакомыми, то чужими. Тонкие, ломкие брови протянуты, прорисованы полукругом. Они колют, как пики. Как два лунных серпа сияют они на болезненно-бледном вечернем небе, как две разверстые раны, как два тонких, острых пореза. А ее щеки! Неторопливая тихая томность празднует на них свое торжество. Непостижимая

женственная нежность всходит на них и заходит. На сверкающем снегу этих щек проступает подчас робкое алое зарево с мольбой о продлении жизни, не солнце, нет, лишь слабый солнечный отблеск. Потом вдруг по ним пробежит легкая зыбь улыбки. Не хочется жить дальше, когда смотришь на щеки фройляйн Беньямента, не хочется после этой райской нежности снова возвращаться к грубому хаосу житейского ада. Такая утонченность возвышается над телесным ужасом мира как повелитель. А ее зубы, чуть мерцающие под покровом роскошных губ, когда она улыбается... И когда плачет. Мир, кажется, должен сойти с оси от стыда и отчаяния, наблюдая, как она плачет. А слыша, как она плачет? О, тогда можно просто погибнуть. Недавно мы слышали ее плач, посреди урока. Все мы дрожали как осиновый лист. Да, мы все, все влюблены в нее. Она наша учительница, высшее существо. Но ее что-то мучит, это ясно как день. Может, она больна?

Фройляйн Беньямента обменялась со мной несколькими словами на кухне. Я уже хотел было идти в комнату, когда она, не глядя на меня, спросила: «Как твои дела, Якоб? Все в порядке?» Я немедленно принял стойку покорности, как положено, и ответил смиренно: «О, разумеется, милостивая сударыня. Мои дела могут быть только в полном порядке». Она, слабо улыбнувшись, спросила: «То есть? Что ты этим хочешь сказать?» И поглядела через плечо. Я ответил: «Мне ничего не нужно». Она, коротко взглянув на меня, помолчала. А потом сказала: «Можешь идти, Якоб. Ты свободен. Можешь идти». Я, как нам предписано, низко поклонился ей и поплелся к себе. Не прошло и пяти минут, как в мою дверь постучали. Я рванул к порогу, этот стук я знал. Передо мной стояла она. «Скажи-ка, Якоб, ты ладишь со своими товарищами?» — спросила она. — Не правда ли, они милые люди?» Я ответил, что все они, без исключения, кажутся мне достойнейшими людьми, заслуживающими самого дружеского расположения. Учительница, хитро сверкнув своими прекрасными глазами, сказала: «Ну уж! А вот с Краусом-то ты ссоришься. Или это тоже, по-твоему, признак дружеского расположения?» Я ответил без колебаний: «В известном смысле, конечно, фройляйн. К тому же ссоры наши не очень серьезны. Если б Краус был проникателен, он бы понял, что я даже предпочитаю его всем остальным. Я очень, очень уважаю Крауса. И мне было бы больно, если б вы мне не поверили». Она схватила мою руку, слегка пожала ее и сказала: «Успокойся же, не горячись так. Смотрите какой он горячий! Если дело обстоит так, как ты говоришь, то я могу быть довольна. И останусь довольна и впредь, если ты будешь продолжать вести себя благоразумно. Запомни: Краус великолепный мальчик, и ты очень обидишь меня, если будешь плохо к нему относиться. Будь с ним ласков. Очень прошу тебя об этом. И не будь таким букой. Ты же видишь, я не сержусь на тебя. Экий избалованный аристократ-капризуля. Краус такой хороший человек. Не правда ли, Краус очень хороший человек, а, Якоб?» Я сказал: «Да». Только «да», и ничего больше, а потом почему-то рассмеялся самым дурацким образом, сам не знаю почему. Она покачала головой и ушла. И что меня дернуло рассмеяться? Сам не пойму. Но все это пустяки. Когда же я обзаведусь деньгами? Вот что мне кажется важным. В моих глазах деньги представляют сейчас ценность идеальную. Я чуть с ума не схожу, когда слышу звон монет. Конечно, я сыт, но что толку.

Я хочу быть богатым, хочу потерять голову, закружиться в вихре жизни. Без этого я скоро вообще не смогу смотреть на еду.

Если б я был богат, я бы вовсе не стал путешествовать вокруг света. Хотя, впрочем, и это неплохо. Но меня мало увлекает возможность беглого знакомства с неизведанным. Вообще я бы не стал, как это называют, расширять образование. Меня больше привлекает глубина, а не ширь, душа, а не пространство. Изучить то, что находится рядом, — вот к чему меня тянет. И я бы не стал ничего приобретать, ничем обзаводиться. Элегантные костюмы, тонкое белье, цилиндр, скромные золотые запонки, длинные лакированные туфли — вот, пожалуй, и все, что мне требуется. Ни дома, ни сада, ни слуги — впрочем, слугу я бы завел, нанял бы отменно корректного Крауса. И начал бы жить. Вышел бы на улицу в клубах тумана. Зима с ее меланхолической стужей так подошла бы к моим золотым штуковинам. Банкноты я держал бы в простом бумажнике. Ходил бы пешком, как обычно, подсознательно радуясь тому, что храню в тайне свое сказочное богатство. Может быть, шел бы снег. Мне все равно, даже напротив, еще лучше. Ватный снегопад в свете вечерних фонарей. Серебрится, сверкает, искрится. Никогда в жизни не пришла бы мне в голову мысль сесть в карету. Пусть это делают те, кто спешит или кто хочет казаться важным. А я бы и тогда не захотел казаться важным, а уж спешить мне и подавно было бы некуда. Я бы ходил пешком, обдумывая разные мысли. Внезапно мне встретился бы кто-нибудь, я бы сначала поприветствовал его, а уж потом посмотрел, кто это. Все вежливо, чинно. Оказалось бы, что это мужчина и, смотрите-ка, ему плохо. Я бы заметил это, а не увидел, такие вещи замечают, увидеть это нельзя, хотя по каким-то признакам это видишь. Ну вот, и мужчина спросил бы, чего мне угодно, и по тону я бы догадался, что он из образованных и интеллигентных. Была бы в его тоне та особая простота и мягкость, и это потрясло бы меня. Потому что я бы ждал скорее грубого тона. «Человек этот глубоко страдает, — сказал бы я себе, — иначе бы он рассердился». И больше я бы ничего не сказал, ничего совершенно, а только смотрел бы и смотрел на него. Не пронзительным взглядом, о нет, совсем просто, быть может, даже чуть весело. И наконец я бы узнал его. И достал бы свой бумажник, и вынул бы из него ровно десять тысяч марок десятью большими купюрами, и отдал бы их этому человеку. После чего приподнял бы галантно шляпу, попрощался бы и удалился. А снег бы все шел и шел. И на ходу я бы совсем перестал думать, чувствовал бы себя слишком хорошо для этого. Прозябающему в ужасной нищете художнику — вот кому я отдал бы деньги. Я бы не ошибся, и не испытывал бы сомнений. И одной большой, вопиющей нуждой стало бы в мире меньше. Вот так, а на другой день я надумал бы что-нибудь еще. Во всяком случае, я не стал бы путешествовать вокруг света, а совершал бы какие-нибудь глупости и чудачества. Устроил бы, например, какой-нибудь фантастически-грандиозный бал или какую-нибудь небывалую вакханалию. Десятки тысяч людей приняли бы в ней участие. Я бы истратил деньги каким-нибудь ошеломительным способом, потому что только истраченные деньги прекрасны. И однажды я стал бы побираться, светило бы солнце, а я бы сидел с протянутой рукой и тихо радовался бы чему-то. Тут подошла бы мама и бросилась бы мне на шею... Ах, какие сладкие грезы!

Что-то древнее есть в лице и самом существе Крауса, в том впечатлении, которое он производит, и это впечатление отсылает нас в Палестину. На лице соученика моего оживают времена Авраама. Вдруг выплывает из колодца забвения и по-отечески смотрит на тебя древняя патриархальная эпоха с ее загадочными ландшафтами и обычаями. Кажется, будто в ту пору на свете существовали одни только мужи с каменными лицами и длинными темными барашковыми бородами, чего не может быть, конечно, и в то же время это неверное представление так похоже на правду. Да, в ту пору! Уже само это слово напоминает об отчем доме. В древние иудейские времена бывали еще такие пары, как Исаак и Авраам, что жили себе бесконечно долго в полном довольстве, обладая богатым имуществом, и при этом пользовались всеобщим почетом. Почтенный возраст тогда отдавал величием. Старики были тогда как цари, а каждый прожитый год прибавлял величавости к сану. А какими эти старики оставались молодыми! В сто лет они еще зачинали сыновей и дочерей. Зубных врачей тогда и в помине не было, и поэтому, надо полагать, ни у кого не болели зубы. А как прекрасен этот египетский Иосиф. В Краусе есть что-то от Иосифа, когда тот был в доме Потифара. Мальчиком попадает он в рабство и, смотри-ка, постепенно становится богачейшим, почтенным и знатным человеком. Вот он еще только раб в доме, но живется ему хорошо. Законы были в те времена, может, не слишком гуманны, зато нравы и обычаи куда снисходительнее к человеку и тоньше. В наше время рабу пришлось бы так худо, что не приведи господь! Кстати, среди нас, современных, деловых и надменных людей, полным-полно рабов. Мы, современные люди, в каком-то смысле все, может быть, рабы, обуянные неотступными, грубыми, как плеть, мыслями о мировом господстве. Что ж, и однажды госпожа дома требует от Иосифа, чтобы он ей подчинился. Как странно, что и по сей день всему миру известны все эти закулисные истории, что они передаются из эпохи в эпоху, из уст в уста. В любой начальной школе изучают историю, что же сетовать на сплетников, педантично сортирующих детали. Презренны люди, отвергающие прекрасный педантизм, они ограничены, духовно недалекосвидны. Ну вот, а Краус, то бишь Иосиф, отказался ей подчиниться. Но то вполне мог быть и Краус, потому что в нем есть что-то иосифо-прекрасное. «Нет, милостивая госпожа, я не сделаю этого. Я обязан хранить верность своему господину». И тогда взбешенная госпожа идет и наговаривает на юного слугу, будто он совершил непотребство, посягнув на жену своего господина. Но дальше я ничего не знаю. Странно, но я не помню, что на это сказал Потифар и как он поступил. Зато Нил вижу перед собой как сейчас. Краус, как никто на свете, подходит на роль Иосифа. Лицо, фигура, осанка, прическа, движения — все в нем точно такое же. Даже его, к несчастью все еще не исцеленная, болезнь кожи. В прыщиках есть что-то библейское, восточное. А мораль, характер, неукоснительное соблюдение добродетельного юношеского целомудрия? Все чудесным образом сходится. Иосиф египетский тоже, верно, был маленький непрошибаемый педант, иначе он внял бы зову вожделеющей женщины и нарушил бы верность своему господину. Краус поступил бы в точности так, как его древнеегипетский прототип. Воздел бы заклинаяще руки свои и голосом, в коем мольба мешалась бы с приговором, произнес: «Нет, нет, я не сделаю этого» и так далее.

Милый Краус! Все-то мысли мои кружат вокруг него. На его примере хорошо можно видеть, что, собственно, значит слово «образование». В будущем, где бы Краус ни был, его будут считать дельным малым, но необразованным, в то время как мне-то кажется, что именно Краус образован лучше других, потому что он человек нерасторжимо-цельный. А как раз это и можно назвать образованием. Да, в Краусе нет нахватанных, шепелявящих знаний, зато в нем покоится что-то основательное и поэтому он, Краус, покоен. Под него можно заложить и душу. Он не станет хитрить, ловчить, наушничать, а вот это-то отсутствие грязи в человеке я и называю в первую очередь образованием. Болтун всегда обманывает ожидания, каким бы милым человеком он ни был, и эта его слабость — выбалтывать все, что он думает, — делает его несносным пошляком. Краус сдержан, он многое хранит в себе, он не любит трепы, и это действует на людей как проявление доброты и участия. Вот это и есть образование. Краус часто не миндальничает с людьми своего возраста и пола, и за это я очень люблю его, потому что вижу в этом доказательство того, что он не способен на вероломное предательство. Он ровен и порядочен в отношениях со всеми. А то ведь как часто бывает: ложное сюсюканье приводит людей к тому, что они постоянно вмешиваются и самым ужасным образом портят жизнь своим товарищам, соседям, братьям. Краус знает не много, но он никогда, никогда не бывает бездумен, он всегда подчиняется определенным собственным принципам, а это и есть образование. То в человеке, что заполнено любовью и мыслью, и есть образование. И еще многое, многое другое. То, например, как тонко чувствует Краус соблазн себялюбия и как в то же время уберегается от всякого и всяческого себялюбия. Это его качество и побудило, по-моему, фройляйн Беньямента спросить: «Краус ведь хороший человек, не правда ли, Якоб?» Да, он хороший. С этим товарищем я потерял бы и неземное благополучие, я знаю. И я почти боюсь теперь пускаться в прежние бездумные препирательства с ним. Мне хочется только смотреть на него, смотреть как можно пристальнее, чтобы навсегда запечатлеть в своей памяти его образ — единственное, что останется мне после того, как неумолимая жизнь нас разлучит.

Понимаю теперь, почему Краусу не отпущено никаких внешних достоинств, не дано телесной привлекательности, почему природа сплющила и обезобразила его, как карлика. У нее тут какой-то тайный замысел, она преследует в нем какую-то свою цель. То была, должно быть, слишком чистая душа, и потому природа заключила ее в неказистое, непривлекательное тело, чтобы уберечь ее от губительных внешних успехов. А может, было и по-другому, может, природа была просто не в настроении, когда создавала Крауса. Но как она теперь, вероятно, страдает оттого, что обошлась с ним так жестоко. Хотя, как знать, может, она и рада своему обнесенному милосердием шедевру, и у нее в самом деле есть все основания радоваться, потому что этот неграциозный Краус красивее любых грациозных и красивых людей. У него нет внешнего блеска, зато редкий дар прекрасного, доброго сердца, а его дурные, деревянные манеры, несмотря на всю свою деревянность, принадлежат к лучшим способам сообщения между людьми, которые выработало общество. Нет, успеха Краус иметь не будет — ни у женщин, которые найдут его слишком сухим и безобразным, ни вообще в светской жизни, где его не удостоят внимания, как не достойную внимания вещь. Не удостоят внимания? Да, и эта-то

неприметность его судьбы и будет самое чудесное и загадочное в нем, напоминающее о мудрости творца. Всевышний посылает миру Крауса, чтобы загадать загадку. Да только этого не поймут даже, и никто не даст себе труда поломать голову над разгадкой, и как раз потому эта загадка-Краус так содержательна и глубока — ибо никто не захочет ее решать, ибо ни один человек не заподозрит даже, что за этим пустым местом, по названию Краус, кроется нечто загадочное, сложно задуманное, значительное. Краус — истинное творение божие, он слуга, то есть ничто. Простоват, годен на любую, и самую черную, работу, он сама безымянность, человек-имярек, к нему будут так относиться, и, странное дело, будут правы, ибо Краус, этот венец смирения, этот храм смирению, не только будет всю жизнь выполнять самую черную работу, но он будет желать этого, и только этого. Ничего другого нет у него на уме, как помогать, повиноваться, служить, и это скоро заметят и будут пользоваться этим, и в том, как этим будут пользоваться, заключена лучезарная, златотонная, божественная справедливость. Да, Краус воплощение праведного и совсем, совершенно однотонного, односложного и однозначного существа. Никто не ошибется на его счет, всяк заметит сразу, как он прост, и всяк станет презирать его, и он не добьется успеха. И я нахожу это очаровательным, совершенно очаровательным, трижды очаровательным. О, сотворенное богом так разумно и прелестно, полно глубокого замысла и глубоких чар. Может быть, мой язык найдут слишком напыщенным. По-моему же, ничего напыщенного в этих словах нет. Нет, ни любовь, ни слава, ни успех не коснутся Крауса, потому что успехи ничего не несут с собой, кроме порчи и дешевого цинизма в отношении к жизни. Стоит человеку добиться успеха, признания, как его не узнать: его так и раздувает самодовольство, так и возносит вверх надувной шар тщеславия. Боже, храни хорошего человека от признания толпы. Если оно не испортит его окончательно, то обязательно запутает и ослабит. Благодарность — да, это другое дело. Но Краусу никто не будет даже благодарен, да этого и не надо. Разве что раз в десять лет кто-нибудь скажет: «Спасибо, Краус», и тогда он глупо улыбнется своей безобразной улыбкой. Он будет непотопляем, мой Краус, любые и самые бесчеловечные трудности будут ему по плечу. Я полагаю, что я единственный человек, а может, наберется еще двое-трое таких, кто понимает, кого он имеет или имел перед собой в лице Крауса. Фройляйн, да, она понимает. Господин директор тоже, наверное. Даже наверняка. Господин Беньяmenta достаточно проникателен, чтобы понимать, чего стоит Краус. Но надо сегодня кончать писанину. Слишком уж разволновался. До одурения. Буквы мелькают и пляшут перед глазами.

За нашим домом старый запущенный сад. Когда я утром гляжу на него из окна канцелярии (а я через день должен убирать ее в паре с Краусом), мне становится жаль, что о нем никто не заботится, и всякий раз хочется сбегать вниз и навести там порядок. Но все это сентиментальность. Черт бы побрал эти мешающие жить слюни. К тому же в пансионе есть и другие сады. Но в этот сад, настоящий, заходить нельзя. Ни один воспитанник не имеет права входить в него, почему — я не знаю. Но, как я уже говорил, у нас есть другой сад, еще, может быть, красивее, чем тот, настоящий. В нашем учебнике «Какую цель ставит перед собой школа для мальчиков?» на странице восьмой значится: «Хорошее поведение — все равно что цветущий сад». В таких-то, духовных,

вымышленных садах и положено резвиться нам, воспитанникам. Недурно. Если кто из нас ведет себя неподобающим образом, он, стало быть, пребывает в суровой и мрачной преисподней. Исправляет он свое поведение, — и в награду его допускают гулять по тенистым, в солнечных пятнах лужайкам. Как соблазнительно! А ведь с моей, бедного мальчика, точки зрения, в этом учебниковом параграфе есть какая-то правда. Если кто-нибудь ведет себя по-дурачки, то он должен испытывать стыд и угрызения совести, а это все равно что адские муки. А буде он внимателен и соблюл себя, то его словно берет за руку нечто невидимое, нежное и милое, как фея, и мягко переносит в сад, где он услаждает себя прогулкой под зелеными, нежными кущами. Если ученик пансиона Беньяменты доволен собой, что случается редко, — столько у нас всевозможных предписаний, не меньше, чем дождя, снега, града и молний у природы, — то его осеняет сладостный аромат скромной, но большими усилиями купленной похвалы. Хвалит нас фройляйн Беньямента — и по классу разливается благоухание, ругает — и воцаряется мрак. Какой странный мир — наша школа. Коли воспитанник был толков и учтив, то над головой его возникает нечто вроде лучезарного нимба, вобравшего в себя свет вымышленного сада. Если набрались мы, воспитанники, терпения и до конца выдержали тяготы себяобуздания, проявили, как у нас это называется, выдержку, то перед нашими слегка утомленными глазами будто загорается золотой свет, подобный небесному солнцу. Солнце светит тому, кто устал от праведных трудов. И если нет нам нужды подкарауливать нечистые желания друг друга, то — что это? Что слышим мы? То поют птицы! Да, то счастливые и красивые маленькие певцы из нашего сада, то их задушевное пение, их чарующий гомон. А теперь сами скажите: нужны ли нам, воспитанникам пансиона Беньяменты, иные сады, кроме созданных нашим воображением? Мы — богачи, если умеем себя вести, держась предустановленных приличий. Когда мне, например, хочется денег, что со мной бывает, к сожалению, слишком часто, я проваливаюсь в низины безнадежного, яростного вожделения: о как я страдаю тогда, как вопию и как сомневаюсь в спасении! А стоит мне взглянуть на Крауса, и меня охватывает глубокий, чудесный, шелестящий райскими листьями, плещущий райскими струями покой. Да, то мирные кущи, то прозрачно-струйные ручьи, что зеленеют и текут в нашем саду, от которого веет такой надежностью доброты. И как же мне после этого не любить Крауса?! Если б кто-нибудь из нас совершил героический поступок, то есть, рискуя жизнью, доказал свое мужество (как написано в нашем учебнике), то он поднялся бы в мраморный, белоколонный павильон в укромном углу нашего сада и там его бы поцеловали. Кто бы поцеловал, об этом в учебнике не сказано. Да и какие мы герои? Где уж! Во-первых, у нас нет никакой возможности совершить что-нибудь героическое, во-вторых, не знаю, способны ли на какие-нибудь жертвы люди вроде Жилинского или длинного Петера. Однако наш сад, на мой взгляд, хорош и без поцелуев, героев и белоколонных павильонов. Мороз прохватывает, едва заговорю про героев. Лучше уж помолчу.

Недавно я спросил Крауса, не испытывает ли он иногда чего-либо вроде скуки? Он посмотрел на меня с упреком, словно ставя на место, и, подумав, сказал: «Скука? Да ты не в своем уме, Якоб. Вопросы твои столь же наивны, сколь и порочны, позволю себе заметить. Кто вообще может скучать? Разве что ты. Мне, во всяком случае, не до скуки.

Вот, учу наизусть эту книгу. Посуди, есть ли мне время скучать? Глупо и спрашивать. Благородные люди, может, и скучают, но не Краус. Или еще вот ты скучаешь, иначе не стал бы думать бог вещь о чем, да еще спрашивать меня о том же. Всегда ведь можно что-то делать, если не руками, то головой. Можно, например, бормотать. Да, Якоб, бормотать. Тебя, конечно, давно уже подмывает поднять меня на смех из-за того, что я бормочу, но скажи мне, знаешь ли ты, что именно я бормочу? Слова, дорогой мой Якоб, слова. Это укрепляет душевное здоровье. Так что оставь меня в покое со своей скукой. Скука знакома тем людям, что всё ждут, чтобы случилось что-нибудь эдакое, что придало бы им сил. Дурное настроение, тоска — вот что такое скука. Ступай же, не докучай мне, дай мне учить, займись и сам делом. Помучайся над чем-нибудь до изнеможения, тогда тебе наверняка будет не до скуки. И, пожалуйста, воздержись в дальнейшем от таких дурацких вопросов, которые только могут вывести человека из равновесия». Я спросил: «Ну что, выговорился наконец, Краус?» И засмеялся. Но он посмотрел на меня с состраданием. Нет, Краус никогда, никогда не станет скучать. Я и так это знал, хотел только немного его подразнить. Как это некрасиво с моей стороны, и как глупо. Мне нужно решительно измениться к лучшему. Какая дурная привычка — дразнить и злить Крауса. И все же нельзя удержаться. Слушать упреки его так весело. Есть что-то от отца Авраама в его призывах.

На днях приснилось мне нечто ужасное. Я был во сне очень, очень плохим, совершенно падшим человеком, но почему так случилось — понять было нельзя. Я был с головы до пят грубый и сырой кусок греховной, беспомощной, отвратительной человеческой плоти. Я был толст и, очевидно, преуспевающ. Кольца сверкали на пальцах моих жирных рук, а с живота свисал целый центнер почтенного сала. Я мог приказывать, капризничать. Рядом со мной, на богато уставленном яствами столе теснились предметы ненасытимо-вождеющего глада и жажды, сосуды с вином и ликером, самые отборные холодные закуски. Стоило лишь протянуть руку, чтобы обладать ими, и время от времени я это делал. На ножах и вилках застыли слезы изничтоженных противников, а в звоне бокалов слышались тяжкие вздохи многих бедняков. Но слезы вызывали только мой смех, а безутешные вздохи отзывались в ушах моих музыкой. Мне нужна была сопроводительная музыка к обеду, и я имел ее. По всей видимости, я сделал очень недурной гешефт на неблагополучии других людей, и это радовало меня до самых кишок. О, как ликовал я от сознания, что обездолил ближних своих! Я взял колокольчик и позвонил. Вошла, пардон, вползла старая-престарая старуха, то была сама Мудрость, и она ползла к моим стопам, чтобы поцеловать их. И я позволил это ей, падшей. Подумать только — сам опыт, сам благородный, мудрый закон лизал мне подошвы. Вот что значит богатство. И снова я позвонил, потому что какая-то блоха укусила меня, уж не знаю куда, и мне захотелось иных удовольствий, и возникла передо мной юная дева, настоящий лакомый кусок для меня, сластолюбца. Стыдливость — звалась та, что, косясь на лежавшую рядом со мной плетку, принялась меня ублажать, что необыкновенно меня освежало. Страх и преждевременное познание стояли в ее детских, красивых, как у газели, глазах. Когда же мне надоело, позвонил я снова и вошел серьезный смысл жизни — молодой, красивый, стройный, но бедный человек. То был один из моих лакеев, и я приказал ему привести

другого, как бишь его, запомнил, ах да, конечно, — Трудолюбие. Вскоре затем явилось Усердие, и я не отказал себе в удовольствии хлестнуть плеткой по спокойно ожидающей физиономии этого полноценного, великолепно сложенного трудяги. Смех, да и только. И прирожденный старательный созидатель стерпел. Потом я, так и быть, пригласил его выпить со мной вина — ленивым покровительственным жестом — и этот простофиля испил от напитка позора. «Ступай, трудись на меня», — отослал я его, и он ушел. Затем, плача, вошла Добродетель, женщина неземной красоты для всякого, кто сохранил еще хоть какое-нибудь чувство. Я посадил ее на колени и совершил с ней непотребство. Похитив же у нее неоценимое сокровище ее — идеал, я с издевками прогнал ее, и вот я свистнул, и явился сам господь бог. Я закричал: «Как? И ты тоже?» — и проснулся в холодном поту. И как же я был рад, что все это оказалось сном! Господи, можно ли мне надеяться, что из меня еще выйдет что-нибудь путное? Как во сне близки мы к безумию. Как выпучился бы на меня Краус, если б я рассказал ему о том, что мне снилось.

Наше почитание фройляйн выглядит смешно. Но мне нравится все смешное, в нем всегда есть что-то от волшебства. В восемь у нас начинаются занятия. Уже за десять минут до этого мы, воспитанники, в позе напряженного ожидания сидим на своих местах и неподвижно смотрим на дверь, в которой должна появиться начальница. Этот способ предупредительного изъяснения своего усердия также предписан нам правилами. Прислушиваться к шагам той, что должна вот-вот войти, это нам предписано правилами, это как закон. Мы, как первоклашки, должны десять минут готовиться к тому, чтобы вскочить со своих мест в нужный момент. Во всех этих мелочных требованиях есть мелкие унижения, которые выглядят смешно, но нас должна заботить честь не собственная, а пансиона Беньяменты, и это, видимо, правильно, ибо разве может быть честь у какого-то ученика? Не может быть и речи. Подвергаться опеке и муштре — вот в чем состоит наша честь. Дрессура — вот наша честь, это же ясно как день. Но мы и не восстаем против этого. Никогда не пришло бы нам в голову восстать. Для этого мы слишком мало задумываемся. Я, может, единственный здесь, кто задумывается, но в глубине души я презираю свою способность суждения. Я ценю только опыт, а он, как правило, далек от всякого размышления, от всяких сравнений. Так, я ценю свое умение открывать дверь. Открыть правильно дверь — в этом больше жизни, чем правильно поставить вопрос. Конечно, все вокруг нас располагает к вопросам и сравнениям и воспоминаниям. Думать тоже, конечно, нужно, причем очень много. Но подчиняться — в этом гораздо больше изыска, чем в том, чтобы думать. Когда думаешь, напрягаешься, а это делает безобразным и вредит делу. Ах, если б мыслители знали, сколько они причиняют вреда! Тот же, кто не приучен думать, делает что-нибудь, а это куда полезнее. Десятки тысяч голов во всем мире работают напрасно. Ясно как день. У рода человеческого ослабевают воля к жизни от всех этих знаний-познаний. Если, к примеру, ученик пансиона Беньяменты не знает, что он благовоспитан, то он — благовоспитан. Знает же он об этом — значит достоинства его мнимы, а цели порочны. Сбегаю-ка я лучше вниз. А то разболтался.

Хорошо все-таки иметь некоторое состояние и держать в порядке свои дела. Я побывал в квартире своего брата, и должен сказать, что она приятно меня поразила: обставлена прямо-таки в старом гунтеновском стиле. Одно то, что весь пол застлан мягким ковром голубовато-серого цвета, понравилось мне чрезвычайно. Всюду в комнатах царит вкус, но не бьющий в глаза вкус, а определенный, строгий выбор. Мебель расставлена с каким-то добросердечием, она словно любезно приветствует всякого входящего. Зеркала на стенах, одно зеркало совершенно огромное, от пола до потолка. Отдельные предметы производят впечатление старых и в то же время не очень старых, изысканных, и все же не слишком, дорогих и недорогих одновременно. Доброта и тщательность правили здесь свой порядок, и это чувствуется, это приятно. Добрая и продуманная воля поместила здесь это зеркало, а здесь — эту красиво изогнутую кровать. Я бы не был одним из фон Гунтенов, если бы не заметил этого. Все чисто, нигде ни пылинки, но ничто не блестит, а просто спокойно и весело поглядывает вокруг. Ничто не лезет в глаза. Значительное и прелестное впечатление производит только все вместе. Красивая черная кошка лежала на темно-пунцовом плюшевом кресле, уютный комочек черного бархата на красном. Очень мило. Будь я художником, я бы написал эту негу изнеженного зверя. Брат встретил меня очень любезно, общались мы как безупречно светские люди, умеющие извлекать удовольствие из приличий. Болтали. Тут на мягких лапах радостно припрыгал большой, стройный, белый как снег, пес. Разумеется, я его погладил. Все красиво в квартире Иоганна. С любовью и тщанием собрал он у антикваров отдельные предметы мебели и картины, пока его собрание не приобрело живую цельность. Простыми средствами и в скромных границах ему удалось достичь совершенства гармонии, так что необходимое и полезное в его квартире составляют единое и прекрасное целое с красивым и грациозным. Вскоре после меня пришла молодая женщина, которой Иоганн меня представил. Мы потом вместе пили чай и очень развеселились. Кошка мяукала, косясь на молоко, а пес желал получить пирожное со стола. Оба желания животных были удовлетворены. Наступил вечер, мне пора было возвращаться.

Здесь, в пансионе Беньяменты, мы учимся испытывать и переносить утраты, то есть мы упражняемся в том, без чего любой человек, каким бы значительным он ни был, останется ребенком, чем-то вроде плаксивого кутенка. Мы, воспитанники, ни на что не надеемся, нам строжайше запрещено пестовать в груди своей какие-нибудь надежды, и в то же время мы совершенно спокойны и не унываем. Как такое могло случиться? Не парит ли какой ангел-хранитель над нашими аккуратно причесанными головами? Не знаю. Может быть, мы не знаем забот и не унываем, потому что ограничены? Тоже возможно. Но разве от этого веселие и бодрость наших сердец значат меньше? Разве можно назвать нас глупыми? Мы в вечном движении.

Подсознательно или осознанно, но мы на многое обращаем внимание, ко многому воспаряем, во все стороны рассылаем свои ощущения за опытом и наблюдениями. Многое способно нас утешить, потому что мы люди ищущие, прилежные и не слишком высоко себя ценим. Кто ценит себя высоко, тот не может быть застрахован от терзаний и унижений, потому что человеку уверенному всегда встретится на жизненном пути то, что

поколеблет его уверенность. В то же время мы, ученики, вовсе не лишены достоинства, но это очень, очень подвижное, маленькое, юркое и ползучее достоинство. Мы то снимаем, то надеваем его снова, смотря по обстоятельствам. Дети ли мы природы или продукты культуры, то есть чего-то более высокого? И этого я не знаю. Зато одно знаю наверное: мы ждем! И в том наша ценность. Да, мы ждем, прислушиваясь к жизни, прислушиваясь к пустыне, именуемой миром, прислушиваясь к бушующему морю. Фукс, кстати, оставил школу. Чему я весьма рад. С этим человеком я не желаю знаться.

Я имел разговор с господином Беньяментой, то есть это он имел со мной разговор. «Якоб, — сказал он мне, — скажи, не кажется ли тебе, что жизнь, которую ты здесь ведешь, очень бедная жизнь, очень, очень бедная? А? Я хочу знать твое мнение. Говори без обиняков». Я предпочел промолчать, но не из упрямства. Упрямства во мне давно никакого не осталось. Но я молчал, словно бы говоря: «Сударь, позвольте мне промолчать. На подобный вопрос я мог бы дать только непристойный ответ». Господин Беньямента внимательно посмотрел на меня и, я думаю, понял, почему я молчу. Так и было, потому что через некоторое время он улыбнулся и сказал: «Не правда ли, Якоб, ты удивлен тому, как лениво и вроде бы отрешенно живем мы здесь, в пансионе? Не так ли? Ведь ты обратил на это внимание? Но я вовсе не хочу подловить тебя на опрометчивом ответе. Я должен тебе кое в чем признаться, Якоб. Я, знаешь ли, считаю тебя умным и порядочным молодым человеком. Можешь в ответ на это дерзить. И еще я испытываю потребность открыть тебе, я, твой директор, желаю тебе добра. И еще одно, третье признание. Станным, невероятным, каким-то стихийным образом ты мне полюбился. Ну вот теперь ты станешь дерзить, не правда ли, Якоб? Не правда ли, ты будешь третировать меня после того, как я открылся? И ты покажешь свой норов? Ведь верно? Верно?» Оба мы, он, бородатый мужчина, и я, мальчишка, смотрели друг другу в глаза. Это походило на внутреннюю борьбу воли с волей. Я уж хотел было открыть рот, чтобы сказать что-нибудь раболепное, но сумел совладать с собой и промолчал. И тут же заметил, что по гигантскому телу директора словно бы пробегает мелкая дрожь. С этого момента между нами как будто возникла какая-то незримая связь, я чувствовал это, не только чувствовал, но и знал. «Господин Беньямента уважает меня», — сказал я себе и вследствие этой, осенившей меня, как молния, мысли я счел приличным и даже необходимым промолчать. Увы мне, если б я сказал хоть слово. Одно-единственное слово низвело бы меня до уровня маленького, забитого воспитанника, в то время как я только что был возведен в сан свободного и достойного человека. Все это в миг открылось моей интуиции, и теперь я знаю, что она не ошиблась. Я вел себя верно... Директор подошел ко мне вплотную и сказал: «В тебе есть что-то значительное, Якоб». Он сделал паузу, и я понял почему. Он хотел видеть, как я себя поведу. Я заметил это, поэтому не шевельнул и бровью, а прямо и неподвижно как истукан смотрел перед собой. Потом мы снова посмотрели друг на друга. В моих глазах была строгость и твердость. Мне бы хотелось смеяться от радости, но я изображал холодность и равнодушие. Но в то же время я видел: он доволен моим поведением. Наконец он сказал: «Ступай, мой мальчик, займись чем-нибудь. Поработай. Или поговори с Краусом. Ступай». Я низко, как и всегда, поклонился и вышел. В коридоре — это входит уже в привычку — я опять остановился и прижался ухом к

замочной скважине. Но в комнате было тихо, ничто там не шевелилось. Я тихо и счастливо рассмеялся как идиот, а потом отправился в класс, где в полумраке, выхваченный полосой света от коричневатого абажура настольной лампы, сидел в одиночестве Краус. Я долго стоял на пороге. В самом деле, очень долго, потому что было во всем что-то такое, чего я не мог понять. Чувство было такое, будто я дома. Нет, чувство было такое, будто я еще не родился, будто я погружен в теплые воды утробы. Вокруг теплынь и все расплывается перед глазами, как в море. Я подошел к Краусу и сказал ему: «Слышь, Краус, я люблю тебя». В ответ он пробурчал что-то насчет глупостей. И я быстро ушел к себе. Что теперь? Останемся ли мы друзьями? Друг ли мне господин Беньямента? Во всяком случае, между нами особые отношения, но какие? Не хочу и вникать, запрещаю себе это. Хочу оставаться легким, ясным, незамутненным. Прочь мысли.

Места у меня все еще нет. Господин Беньямента говорит, что ищет. Говорит он это суровым тоном властелина и добавляет: «Что такое? Не терпится? Все будет. Жди!» О Краусе поговаривают, что он скоро уйдет от нас. Уйти — это у нас такое профессиональное смешное выражение. Неужели Краус скоро уйдет? Надеюсь все же, что это лишь слухи, маленькие местные сенсации. И среди нас, воспитанников, в ходу бывают иной раз слепленные из воздуха утки, как в какой-нибудь бульварной прессе. Мир, как я замечаю, всюду одинаков. Между прочим, я снова был в гостях у брата моего Иоганна фон Гунтена, и этот человек отважился вывести меня в общество. Я сидел за одним столом с богатыми людьми и никогда не забуду, как себя вел. На мне был старый, но все еще импозантный сюртук. Сюртуки придают вес человеку и увеличивают его возраст. Вид у меня был, как у человека с двадцатью тысячами годового дохода, самое маленькое. Я говорил с людьми, которые повернулись бы ко мне спиной, ежели бы догадались, кто я. Меня поощряли улыбками женщины, которые, если б им сказать, что я всего-навсего воспитанник пансиона, облили бы меня презрением. А меня удивил мой аппетит. Как славно можно поест за богатым столом! Я смотрел, как действуют другие, и талантливо подражал им. Отвратительно. Я испытываю нечто вроде стыда, вспоминая, с каким довольным лицом ел и пил там, то есть в их кругу. Никаких изысканных манер я не заметил. Напротив, было видно, что меня принимают за робкого юношу, в то время как, на мой взгляд, меня так и распирало от наглости. Иоганн хорошо ведет себя в обществе. У него легкая и приятная повадка человека, который кое-что значит и знает об этом. Его поведение как бальзам для глаза, который за ним наблюдает. Может, я слишком хорошо отзываюсь о нем? О нет! Я вовсе не влюблен в своего брата, но я пытаюсь смотреть на него объективно. А может, это все-таки любовь? Пусть. Прекрасный вечер провели мы потом и в театре, но не хочу об этом распространяться. Изящный сюртук потом пришлось снять. О, как приятно походить в одежде respectable человека, повертеться в ней! Да, да, повертеться! Так оно и есть. Там, в кругу людей образованных, только и делают, что вертятся да прихорашиваются. Потом, приплевшись в пансион, я снова облачился в свой костюмчик воспитанника. Мне нравится здесь, я это чувствую теперь, когда-нибудь буду с тоской вспоминать о заведении Беньяменты, когда-нибудь, когда я стану человеком значительным, но ведь я никогда, никогда не буду человеком значительным, меня прямо-таки бросает в дрожь от моей неколебимой уверенности в этом. Когда-то

настигнет меня удар и одним махом покончит со всеми этими смятениями, и с тоской, и с незнанием, с благо- и с неблагодарностью, с ложью и самообольщением, будто что-то знаешь, хотя на самом деле ничего не знаешь об этом мире. Но жить все равно хочется, и все равно как.

Случилось нечто мне непонятное. Пустяк, может быть, которому не следует придавать значения. Я мало склонен предаваться мистике. Поздно вечером, близко к полуночи я сидел один в классе. Вдруг позади меня возникла фройляйн Беньямента. Я не слышал, как она вошла, должно быть, отворила дверь очень тихо. Она спросила меня, что я тут делаю, но таким тоном, что отвечать вовсе не требовалось. Спрашивая, она давала понять, что сама знает. В таких случаях не отвечают. Будто от усталости и от необходимости на что-нибудь опереться, она положила руку на мое плечо. Тут я почувствовал, что весь, целиком принадлежу ей. Принадлежу ей? Да, просто-напросто принадлежу. Я всегда мало доверяю своим ощущениям. Но свою принадлежность фройляйн я ощутил по-настоящему глубоко. Нас что-то объединяло. Хотя, конечно, не до конца. И все же мы в один миг оказались очень близки друг другу. Хотя, конечно, конечно, не до конца. Терпеть не могу, когда люди ничем не отличаются друг от друга. В том, что фройляйн Беньямента и я были совершенно разные люди, для меня не было никаких сомнений. Но в этом и заключалось счастье. Не выношу обманывать самого себя. Всякие награды и привилегии, кои не являются подлинными до конца, для меня все равно что враги. Да, мы люди весьма разные. О чем то бишь я? Выпутаюсь я наконец из этих различий? Внезапно фройляйн Беньямента сказала: «Пойдем со мной. Встань и иди за мной. Я тебе кое-что покажу». Я пошел за ней. Перед моими глазами (перед ее-то, может, и нет) стояла кромешная тьма. «Это внутренние покои», — подумал я, и не ошибся. Дело выглядело так, будто моя любимая учительница решила показать мне мир, остававшийся дотоле закрытым. Но я должен перевести дыхание.

Поначалу было, повторяю, совершенно темно. Фройляйн взяла меня за руку и весьма любезным тоном произнесла: «Вот, Якоб, так темно будет вокруг тебя. И некто поведет тебя за руку. И ты будешь рад этому и впервые испытаешь благодарность в сердце своем. Не пугайся. Будет еще и светло». Едва она это сказала, как нам в глаза ударил ослепительный белый свет. Перед нами оказались ворота, и мы вошли в них, она впереди, я следом за ней, и очутились в пламени света. Такого значительного, непраздного блеска я в жизни своей еще не видывал и поэтому стоял как оглушенный. Фройляйн, еще более любезная, чем прежде, с улыбкой спросила меня: «Слепит глаза? Попытайся все-таки выдержать. Свет этот — радость, и ее нужно уметь выносить. Ты, конечно, можешь подумать, что свет этот означает твое будущее счастье, но, смотри, что с ним? Свет распадается, исчезает. Так что, Якоб, не надейся на длительное, прочное счастье. Тебя ранит моя откровенность? Терпи. Идем дальше. Нам надо поторапливаться — предстоит еще кое-что увидеть и пережить. Скажи-ка Якоб, ты меня понимаешь? Хотя лучше молчи. Тебе нельзя здесь разговаривать. Думаешь, наверное, что я волшебница? Нет, я не волшебница. То есть немножко поворожить и приворожить я, конечно, умею. Всякая девушка это умеет. Но пойдем же». С этими словами любезная девушка открыла люк в

полу, и мы в прежнем порядке спустились в глубокий погреб. Под конец, когда кончились каменные ступени, мы ступили на мягкую, влажную землю. Чувство было такое, будто мы опустились к самому центру земного шара, настолько глубоким одиночеством веяло отовсюду. Мы шли по длинному мрачному ходу, когда фройляйн Беньямента сказала: «Теперь мы под сводами нищеты и лишений, а поскольку ты, милый Якоб, скорее всего будешь всю свою жизнь беден, то постарайся уже теперь привыкнуть к царящей здесь темноте и к холодному резкому запаху. Не пугайся и не сердись. Бог ведь и здесь, он повсюду. Нужно учиться любить и пестовать необходимость. Поцелуй мокрую землю подвала, прошу тебя, сделай это. Тем самым ты дашь зримое доказательство того, что охотно подчиняешься печали и мраку, которые, как видно, составят основу твоей жизни». Я послушался, опустился на холодную землю и с глубоким чувством припал к ней, отчего меня бросило сначала в холод, а потом в жар. Мы пошли дальше. О, эти пути нищеты и страданий казались мне бесконечными, — по-видимому, они и были таковыми. Секунды длились как целая жизнь, а минуты превращались в столетия. Наконец мы достигли какой-то суровой стены и фройляйн сказала мне: «Поди, поцелуй стену. Это Забота. Она всегда будет возвышаться перед твоими глазами, и ты глупо поведешь себя, если ее возненавидишь. Нет, неподдающееся, неумолимое нужно пытаться смягчить. Поди, попробуй». Я быстро, в какой-то лихорадочной спешке подошел к стене и бросился ей на грудь. На каменную грудь. И стал говорить ей нежные слова, почти шутить с ней. Но она осталась, конечно, неподвижной. Конечно, то была комедия, которую я разыгрывал своей учительницы ради. Правда, комедия — это не так уж и мало. И мы оба улыбались, она, маэстро, и я, ее недалекий ученик. «Идем, — сказала она, — теперь мы можем позволить себе немного свободы, немного движения». И с этими словами она коснулась маленькой белой знакомой указкой стены, и кошмарный подвал сразу исчез, и мы очутились на какой-то гладкой, скользкой, открытой площадке то ли из льда, то ли из стекла. Мы скользили по ней как на чудесных коньках, и танцевали, ибо она ходила волнами под нашими ногами. Это было восхитительно. Никогда не видел я ничего подобного и радостно воскликнул: «О, как чудесно!» А над нами на странном, бледно-голубом и в то же время как будто темном небе мерцали звезды, и застылый месяц сияя взирает на нас, конькобежцев. «Это Свобода, — сказала учительница, — в ней есть что-то морозное, зимнее, долго ее не выдержишь. На свободе нужно непрерывно двигаться, танцевать, как мы здесь с тобою. Свобода холодна и прекрасна. Но только не влюбляйся в нее. Жить с нею можно только считанные месяцы, а потом придется горестно вспоминать. Мы и так слишком долго здесь задержались. Смотри, как постепенно исчезает покрытие под нашими ногами. Теперь, если будешь внимателен, увидишь, как умирает Свобода. В будущей жизни сердце твое не раз вздрогнет от этой сцены». Едва она это сказала, как мы скатились с веселой освежающей высоты во что-то привычно-тягостное. То был усталый мечтательно дышащими коврами, увешанный картинками со скабрёзными сценками маленький и уютный будуар. Очень будуаристый будуар. О таких я давно уже мечтал. И вот один из них был передо мною. С пестрых стен, как ватный снег, стекала вниз нежная музыка, ее почти можно было видеть, звуки кружились вихрем, как снежинки. «Отдохни здесь, — сказала учительница. — Скажешь сам, когда почувствуешь себя бодрым». Мы оба улыбнулись этим загадочным словам, и хотя душу мою стесняла

какая-то осторожная робость, я немедленно растянулся на одном из ковров будуара. Рот мой непроизвольно открылся, и откуда-то сверху в него опустилась сигарета с необыкновенно тонким ароматом, и я закурил. В руках сам собой оказался роман, и я стал листать его. «Это не для тебя. Не читай таких книг. Вставай. Пойдем-ка лучше. От размягченности прямой путь к бездумности и жестокости. Слышишь ли раскаты сердитого грома? То дает знать о себе Беспокойство. Ты наслаждаешься здесь покоем. Но скоро настигнет тебя Беспокойство и как дождь обрушится на тебя Сомнение. Пойдем. Нужно смело идти навстречу неизбежному». Так говорила учительница. И едва она произнесла эти слова, как меня уже подхватил густой и крайне неприятный поток сомнения. Все больше и больше впадая в отчаяние, я даже не осмеливался оглянуться, чтобы удостовериться, здесь ли она еще. Нет, учительница, волшебница, заклинательница всех этих чудес и превращений исчезла. Я плыл в одиночестве. Хотел закричать, но сразу же понял, что захлебнусь, если открою рот. Проклятое беспокойство. Я плакал, сожалея о том, что предался уюту и неге. Как вдруг я снова очутился в пансионе Беньяменты, в темном классе. Фройляйн Беньямента еще стояла за моей спиной и гладила меня по щекам, но так, будто она утешала не меня, а себя. «Она несчастна», — подумал я. Тут вернулись с прогулки Краус, Шахт и Жилинский. Фройляйн поспешно отняла свою руку и ушла на кухню дать им поесть. Приснилось мне все это? Но зачем думать о грезах, когда можно поесть? Бывает, что страшно хочется есть. Набрасываешься тогда на любую еду, как голодный подмастерье, и чувствуешь себя не цивилизованным, а совершенно первобытным человеком.

Забавными бывают у нас уроки гимнастики и танцев. Выказывать свою ловкость — дело небезопасное. Легко можно и опозориться. Правда, мы, воспитанники, не смеемся друг над другом. Впрочем, смеемся, да еще как. Но смеются у нас ушами, поскольку ртом это делать запрещено. И глазами. Глазам это так хорошо удается. А давать им предписания хотя и возможно, но очень трудно. Так, например, нам запрещено подмигивать, чтобы не впадать в дурной тон, но все же мы понемножку подмигиваем. Совсем подавить природу все-таки не удастся. Хотя мы стремимся к этому. Но даже когда мы отовсюду изгоняем природу, какой-то след ее, отпечаток остается. Длинный Петер, например, не в состоянии преодолеть собственную, личную свою природу, и когда ему нужно грациозно двигаться в танце, он все равно остается деревянным, потому что он сделан из дерева, таков отпущенный ему свыше материал. А ведь как можно бы посмеяться над длинным стоеросовым чурбаном, просто надорвать животик. Смех — противоположной природы, нежели дерево, в нем есть что-то воспламеняющееся, он как спички. Спички хихикают, они напоминают подавленный смех. Я очень, очень люблю подавлять смех. Это так приятно щекочет горло — сдерживать то, что так и рвется наружу. Люблю то, чему нельзя быть, что нужно загнать внутрь себя. Подавленное мучит, конечно, но ценность его велика. Да, да, признаю, я люблю состояние подавленности. Хотя... Нет, нет, никаких хотя. Господин Хотя пусть ко мне не суется. То есть что я хотел сказать: не иметь права делать чего-либо — значит делать это вдвойне. Нет ничего более плоского, чем легкое, быстрое, равнодушное разрешение. Я люблю всего добиться, заслужить, выстрадать, а смех тоже должен быть выстраданным. Если меня разрывает внутри от смеха, как

пороховую бочку, тогда я знаю, что такое смех, тогда я смехач самый смехачистый, тогда я получаю самое совершенное представление о том, что меня сотрясает. Из этого опыта рождается предположение, нет, твердое убеждение в том, что предписания покрывают бытие серебром, может быть, даже золотом, — словом, делают жизнь привлекательной. Ибо и со всеми прочими вещами и явлениями происходит то же, что с очарованием запрещенного смеха. Запрет на слезы, например, увеличивает прелесть плача. Лишиться любви — это и значит любить. Если я не должен любить, я люблю десятикратно. Все запрещенное процветает стократно; таким образом, то, что должно быть мертвым, живет в самую полную силу. Так в малом, так и в большом. Звучит все это обыденно, но в обыденности заложены самые глубокие истины. Я опять разболтался, не так ли? Охотно признаю, что болтаю, потому что нужно ведь чем-то заполнять строки. Как прелестны, как прелестны запретные плоды!

Между господином Беньяментой и мной повис, быть может, видимый с двух сторон запретный плод. Но мы не признаем этого до конца. Мы пугаемся откровенных признаний, и с этим ничего поделать нельзя, как я это ни осуждаю. Не люблю внешних любезностей. Мне отвратительны многие люди, которые ведут себя по отношению ко мне предельно деликатно, это я хотел бы особенно подчеркнуть. Разумеется, и я не против мягкого сердечного тона. Каким надо быть дикарем, чтобы отвергать всякую вкрадчивую отлаженность внешних приемов общения. Но я всегда остерегаюсь видеть в ней истинную теплоту, у меня талант удерживаться от глупости ложных сближений, во всяком случае я всегда скупко расходуя свое доверие. Моя сердечная теплота для меня величайшая драгоценность, и тот, кто хочет ею овладеть, должен действовать с крайней осмотрительностью. Это относится и к господину Беньяменте. Господин Беньямента хочет, очевидно, завладеть теплотой моего сердца, заключить со мной дружбу. Я же пока холоден с ним, как лед, и, в общем-то, знать о нем ничего не желаю.

«Ты молод, — говорит мне господин директор, — ты полон жизненных планов. Постойка, что я тебе хотел сказать? Совсем забыл. Знаешь, Якоб, я должен тебе сказать очень много, а при этом часто бывает, что не успеешь оглянуться, как забудешь самое главное. У тебя-то хорошая, свежая память, в то время как моя никуда не годится. Голова моя умирает, Якоб. Прости, что я так разнюнился и расхристался перед тобой. Смешно. Я прошу у тебя прощения, я, который мог бы тебя поколотить, если б нашел это нужным. Как жестко смотрят на меня твои юные глаза. А ведь я мог бы так шмякнуть тебя об стену, что из тебя бы и дух вон. Не могу понять, как так вышло, что на тебя моя власть больше не распространяется. Наверное, тайком ты смеешься надо мной. Однако: будь начеку. Ты должен знать, что со мной бывают приступы буйства и тогда я не отдаю себе отчета в своих действиях. О нет, мой маленький сорванец, не бойся. Я ничего, ничего не сделаю тебе, но что я хотел тебе сказать, ты не знаешь? Скажи, а ты и в самом деле совсем не боишься? Ты молод и полон надежд, и скоро займешь подобающее тебе место. Не так ли? Так, конечно, так. Вот это-то меня и печалит, потому что, знаешь, иногда мне кажется, будто ты брат мой или какой-нибудь еще близкий родственник, настолько знакомо и близко мне все в тебе — и то, как ты двигаешься, и как говоришь, и все, все. Я смещенный

король. Ты улыбаешься? Это прелестно — я говорю о короле, утратившем трон, а ты улыбаешься, как лукавый мальчишка. Ты умен, Якоб. С тобой можно о многом говорить. До коликов восхитительно вести себя с тобой так, будто я мягче и слабее, чем на самом деле. Да, ты словно взываешь к небрежности, легкости, панибратству. В тебе чувствуется, поверь, благородство, и того, кто беседует с тобой, так и тянет, как теперь вот меня, изъясняться изысканно, витиевато, любезно. Даже меня, твоего господина, который мог бы раздавить тебя, как червя. Дай мне руку. Вот так. Позволь сказать тебе, что ты сумел внушить уважение к себе. Я, должен тебе признаться, очень, очень уважаю тебя. А теперь я хотел сообщить тебе свою просьбу: хочешь ли ты быть моим другом, моим доверенным лицом? Прошу тебя об этом. Но я дам тебе время обдумать мои слова. Пока же ступай. Можешь идти, я хочу остаться один». Так говорил со мной господин директор, человек, который, как он сам сказал, мог бы раздавить меня, как червя. Я не стал больше кланяться ему, чтобы не обидеть его. О каком это смещенном короле вел он речь? Не стану я обдумывать все это, как он велел, а просто уеду, чтобы остаться таким, как я есть. Во всяком случае, нужна осторожность. Говорит, что может быть буйным? Да уж, надо признаться, приятного в этом мало. Быть шмякнутым о стену — благодарю покорно, для этого я себе слишком дорог. Рассказать ли обо всем фройляйн? Нет, ни за что! У меня достанет мужества, чтобы молчать о странном, и достанет разума самому справиться с сомнительным. Господин Беньямента, вероятно, не в своем уме. Как бы там ни было, он походит на льва, а я — на мышь. Веселенькая жизнь ждет меня теперь в пансионе. Только бы никому не проговориться. Промолчать — значит победить, так часто бывает. Но все это глупости. И баста.

Какие фантазии иногда приходят мне в голову! Доходит чуть ли не до абсурда. Вдруг — ничего не могу поделать с собой — превращаюсь в военачальника каких-нибудь былых времен, года эдак около тысяча четырехсотого или, нет, позже, в эпоху миланских походов. Я пирую в кругу своих офицеров. Только что выиграна битва, после которой слава о победителях на другой день распространится по всей Европе. Мы веселы и пьяны. Пируем мы не в какой-нибудь зале, а в чистом поле. Солнце уже закатывалось за горизонт, когда взору моему, зажегшему и потушившему битву, предстал приведенный ко мне жалкий и несчастный перебежчик из нашего лагеря. Дрожа всем телом, он смотрел себе под ноги, не отваживаясь поднять глаза на полководца. Я бегло взглянул на него, потом так же бегло — на тех, кто привел его, и нагнулся к своему до краев наполненному бокалу с вином. Все это означало: «Ступайте. И повесьте его». Люди тотчас схватили нечестивца, как вдруг он отчаянно завопил — так, будто его рвали на части доброй тысячей ужасных пыточных крючьев. В боях и сражениях, заполнивших мою жизнь, я слышался всякого, и всякого, самого ужасного и невыносимого повидали мои глаза, но такого я не мог выдержать. Снова повернувшись к обреченному смерти, я кивнул солдатам: «Отпустите его», — сказал я, поднося бокал к губам, чтобы поскорее покончить с эпизодом. Но тут случилось нечто столь же потрясающее, сколь и отвратительное. Человек, которому я даровал жизнь, его ничтожную жизнь предателя и преступника, бросился как безумный к моим ногам и стал целовать прах сапогов моих. Я оттолкнул его. Меня мутило от отвращения и ужаса. Власть, которую я имел, благодаря которой я мог

свободно распоряжаться людьми, как буря листьями, тяготила меня, и я приказал ему удалиться. Он почти обезумел от животной радости, исторгавшейся через рот и глаза, он отполз, бормоча благодарности. Всю ночь после этого мы самым разудалым образом кутили, а под утро, когда мы еще сидели за столом, мне пришлось принимать посланника папы, и я проделал это столь церемонно, что невольно сам улыбнулся. Я был герой, властелин дня. От моего настроения, от благополучия моего духа зависело состояние половины Европы. Но я ломал дурака перед дипломатами, разыгрывал добрячка перед ними, так мне хотелось, и вообще я несколько утомился, меня тянуло домой. Я охотно расстался с привилегиями, дарованными войной. Разумеется, я был удостоен титула графа, потом женился, и в конце концов опустил настолько низко, что не стыжусь быть маленьким, ничтожным воспитанником пансиона Беньяменты и иметь таких товарищей, как Краус, Шахт, Ганс и Жилинский. Нужно вышвырнуть меня голым в стужу на улицу, и тогда я, быть может, воображу, что я всемогущий господь бог. Но пора уже отложить перо в сторону.

Для людей маленьких и ничтожных, каковыми являемся мы, воспитанники, не существует ничего смешного. Лишенный достоинства ко всему относится серьезно, зато и легко, почти легкомысленно. Наши уроки танцев, манер и гимнастики представляются мне такими же важными, значительными и, стоящими, как сама жизнь, и поэтому классная комната превращается на моих глазах то в светскую гостиную, то в многолюдную улицу, то в старинный замок с длинными переходами, то в канцелярию чиновника, то в кабинет ученого, то в будуар — в зависимости от обстоятельств. Нас учат входить, здороваться, кланяться, говорить, выполнять заданные поручения, устраивать дела, оформлять заказы. Потом вдруг мы оказываемся за обеденным столом в столичном доме, и нас обслуживают слуги. Шахт, а то и Краус, изображает какую-нибудь даму высшего света, и мне нужно развлекать ее. Все мы тогда кавалеры, не исключая длинного Петера, который и так всегда себя чувствует кавалером. Потом мы танцуем. Скачем кругом под насмешливыми взглядами учительницы. Потом вдруг устремляемся на помощь человеку, попавшему под автомобиль на улице. Раздаем мелочь воображаемому нищим, пишем письма, грозно рычим на денщиков, посещаем собрания, ищем общества, где говорят по-французски, упражняемся в обращении со шляпой, беседуем об охоте, финансах, искусстве, целуем ручки благорасположенным к нам дамам, милостиво протянутые нам изящные пальчики, празднично шатаемся, пьем кофе, едим бутерброды с ветчиной, спим в воображаемых постелях, встаем потом рано утром и говорим: «Доброе утро, господин судья», деремся, потому что и это часто случается в жизни, то есть делаем все то, что случается в жизни. Если мы устаем от этих дурачеств, то фройляйн стучит указкой по крышке стола и кричит: «Alions, вперед, мальчики. За работу!» И мы снова работаем. Кружимся по комнате, как осиный рой. То есть трудно даже определить, на кого мы похожи. А когда мы снова проявляем признаки усталости, учительница кричит: «Как? Вам так быстро опостылела жизнь в обществе? Продолжайте-ка. Покажите, на что вы способны в жизни. Она нетрудна, но требует сил и давит тех, у кого их не обнаруживается». И мы бодро начинаем все сызнова. Путешествуем с господами, которые прожигают жизнь. Сидим в библиотеках и просвещаемся. Вот мы солдаты, настоящие рекруты, должны ложиться на

землю и стрелять. Мы заходим в лавку за покупками, в баню помыться, в церковь помолиться: «Не введи нас во искушение, господи». А уже в следующий миг мы грешим самым отчаянным образом. «Все. На сегодня довольно», — говорит в конце концов фройляйн. Жизнь прекращается, а сон, именуемый человеческой жизнью, принимает совсем другое направление. Чаще всего в таких случаях я ухожу гулять на полчаса. В сквере, где я сижу на скамейке, каждый раз попадается мне одна и та же девушка. Похожа на продавщицу. Всегда поворачивает в мою сторону голову и подолгу смотрит на меня. Взгляд самый томный. Думает, верно, что я господин с солидным месячным доходом. У меня вид стоящего человека. Она ошибается, и поэтому я игнорирую ее.

Иногда мы ставим и пьесу, какую-нибудь комедию, переходящую в водевиль, иной раз настолько рискованной, что учительница грозит нам пальцем. Что-нибудь вроде: Мать: «Я не могу отдать вам свою дочь. Вы слишком бедны». Герой: «Бедность — не порок». Мать: «На языке: та-та-та! А за душою ни черта!» Любовница: «Маман, при всем уважении, которое я к вам питаю, прошу вас быть повежливее с человеком, которого я люблю». Мать: «Помолчи! Когда-нибудь еще спасибо скажешь, что я держала тебя в ежовых рукавицах. Скажите, сударь, вы где-нибудь учились?» Герой (он поляк, и его играет Жилинский): «Милостивая государыня, я окончил пансион Беньяменты. Прошу простить мне ту гордость, с которой я произношу это имя». Дочь: «Ах, мама, вы же видите, как он себя ведет, какие отменные у него манеры». Мать (строго): «Помолчи уж о манерах. Аристократические ужимки давно ни гроша не стоят. А вы, сударь, извольте дать мне отчет: чему вы учились в пансионе Багнаменты?» Герой: «Прошу прощения: Беньяменты, а не Багнаменты, как вы изволили выразиться. Чему я учился? По правде говоря, предметов было немного. Но ведь в наше время знания давно уже ничего не стоят. Это вы должны признать». Дочь: «Слышите, мамочка?» Мать: «Что я должна слышать, горе луковое? Этот вздор? Итак, вот что я скажу вам, мой ясновзорый: вы окажете мне непременно честь, если навсегда оставите мою дочь в покое». Герой: «Какие жестокие слова! Что ж, будь по-вашему. Я ухожу». Уходит... и т. д. Содержание наших маленьких драм всегда имеет какое-то отношение к школе и нам, воспитанникам. На долю каждого воспитанника выпадают самые разные судьбы, удачные, неудачные, иной раз весьма причудливые. Жизнь то балует, то отнимает последнее. Мораль всякой пьесы сводится к воплощению и прославлению скромного служения. Счастье в служении — вот идея нашей драматургии. Фройляйн во время наших представлений изображает публику. Она недвижно сидит в ложе, наводя лорнет на сцену, то есть на нас, играющих. Краус — самый плохой актер из всех нас. Подобные вещи не в его натуре. Лучше всех играет длинный Петер. Генрих на сцене тоже бывает очарователен.

У меня есть несколько оскорбительное предчувствие, что кусок хлеба я себе добуду всегда. Я здоров, буду здоров и впредь, и кому-нибудь всегда пригожусь. Ни государству, ни общине своей я не буду в тягость. Думать таким образом, то есть думать, будто всегда найдешь себе кусок хлеба в качестве маленького, ничтожного человека, я бы никогда не смог прежде, в бытность мою отпрыском дома фон Гунтенов, но теперь я стал совсем, совсем другим, самым обыкновенным человеком, и тем, что я стал обыкновенным

человеком, я обязан брату и сестре Беньямента, к которым испытываю несказанную, омытую росой безмятежности благодарность. Я горжусь тем, что изменил свое представление о чести. Как случилось, что я увял в столь юные годы? Но разве это увядание? В каком-то смысле да, но, с другой стороны, это сохранение себя. Сгинув где-нибудь, потерявшись в жизни, я стану, быть может, более истинным и истым фон Гунтенем, чем если бы остался дома, прозябал бы там и усыхал, кичась своей родословной. Так уж будь что будет! Я совершил свой выбор. Во мне живет странная энергия познания жизни с самого низа и непреодолимая страсть так подкалывать людей, чтобы они мне открывались. Тут мне вспомнился господин Беньямента. Но буду лучше думать о чем-нибудь другом, то есть о том, о чем я еще способен думать.

Я перепознакомился со многими людьми благодаря любезности Иоганна. Среди них есть и люди искусства, и они очень милы. Что еще можно сказать при столь поверхностном общении. Собственно, все люди, тщащиеся иметь успех в мире, удивительно похожи друг на друга. Лица у них совершенно одинаковые. То есть вроде бы и разные, но в чем-то и одинаковые. Походят все друг на друга и какой-то накатанной и скользкой любезностью, за которой, как мне кажется, эти люди прячут свою неуверенность. Они стараются побыстрее разделаться с людьми и предметами, чтобы обратиться к новому, которое, по их убеждению, также заслуживает внимания. Они никого не презирают, эти добрые люди, и в то же время презирают всех, только не выказывают это презрение из страха совершить оплошность. Их любезность замешана на мировой скорби, предупредительность рождена страхом. Кроме того, каждый из них хотел бы уважать самого себя. Ведь они джентльмены. И никогда не бывают довольны собой. Да и как может быть доволен собой тот, кто помешан на знаках отличия и почтения? И потом, эти люди, поскольку они дети общества, а не природы, постоянно чувствуют дыхание преследователя за спиной. Каждый ощущает поблизости от себя тайного узурпатора и вора, который притаился, чтобы внезапно напасть и отнять все, действуя своим новым, невиданным даром, как отмычкой и финкой. Поэтому новичок в этой среде всегда находится в заведомо выигрышном положении, и горе тем, кто постарше, если новичок этот обладает умом, талантом, энергией. Впрочем, сказанное мной слишком просто. Есть тут и другое. В этих кругах прогрессивной образованности царит заметная и определенная усталость. Не внешняя потертость родовитого дворянства, нет, но настоящая, истинная, все ощущения пронизавшая усталость утратившего здоровье человека. Все они образованны, но уважают ли они друг друга? Они, когда рассуждают трезво, довольны своим положением в мире, но довольны ли они им? Кстати, среди них есть и богатые люди. О них я не говорю, потому что богатство, которым человек обладает, вынуждает мерить его совсем другими мерками, чем прочих людей. Словом, все это вежливые и на свой лад не праздные люди, и я очень, очень благодарен моему брату, что он познакомил меня с ними, показал мне кусочек мира. В этом кругу полюбили называть меня маленьким фон Гунтенем, а Иоганна окрестили фон Гунтенем большим. Все это в шутку, конечно, в этой среде любят шуточки. Я-то их не люблю, но это все ерунда. Я чувствую, сколь безразличен к тому, что принято называть миром, и сколь захватывающим и великим представляется мне тот тихий мир, что находится в моей собственной душе. Как бы там

ни было, брат мой приложил усилия к тому, чтобы вывести меня в люди, и мой долг в том, чтобы извлечь из этого максимум пользы. А для меня в том пользы немало. Мне на пользу идет и самая малость. Чтобы до конца постигнуть два-три характера, нужно потратить всю свою жизнь. Все это опять принципы школы Беньяменты, и насколько же они отличаются от тех, которые правят миром. Но пора идти спать.

Я никогда не забываю о том, что я скатившийся вниз и начинающий все сначала отпрыск благородной семьи, который не обладает свойствами, необходимыми для продвижения наверх. Хотя как знать! Может, они у меня и есть. Но я, во всяком случае, не доверяю настроениям тех тщеславных минут, когда мне рисуется будущее счастье, полное блеска. Во мне нет добродетелей выскочки. Я бываю дерзок, но только по настроению. А выскочка дерзок истово и непрерывно при всей своей внешней скромности, то есть именно во внешнюю скромность и незначительность проявлений он упаковывает свою дерзость. Выскочек вокруг немало, и они тупо держатся за то, чего добились. И это в них превосходно. Они бывают и нервными, несдержанными, раздражительными, утомленными «всем этим», но раздражение и разочарование никогда не овладевают душой настоящего выскочки. Выскочки из породы господ, и таким господам, возможно какому-нибудь самодуру, я и буду служить, забыв о том, откуда я родом, служить верно, истово, надежно, самозабвенно, забыв о собственных выгодах, ибо только так, с предельной порядочностью, я и смогу кому-либо служить. Я заметил, что заговорил голосом Крауса, и немного стыжусь этого. С тем, что у меня на душе, никогда не достигают величия в мире, разве что назвать великим что-нибудь серенькое, незаметное, тихое, мелкое, наплевав на сияющие вершины. Да, я буду служить, буду каждый день вновь и вновь взваливать на себя обязательства, выполнение которых не дает мне ровным счетом ничего, кроме разве что скупой оброненной «спасибо», подобрав которое, я расцвету от блаженства. Пусть это глупо, но так будет, и, сознавая это, я не печалюсь. Должен признаться: я не знаю ни печали, ни одиночества, и это глупо, потому что благодаря всякой такой сентиментальности, благодаря тому, что называют надрывом, выскочки и рвачи и делают свои гешефты. Да только в моих глазах гешефты не стоят таких трудов, почет и слава не стоят таких унижительных напряжений. Дома, у отца с матерью, все поры стен были пронизаны тактом. Но это так, для примера. Атмосфера там была самая благородная, светлая. Весь дом был как очаровательная улыбка. Мама ведь человек чудесный. Ну да ладно. Итак, падший отпрыск, обреченный прислуживать, играть роль десятой спицы в колесе. Мне это подходит, соответствует моим представлениям, ибо, как сказал Иоганн, «власть имущие мучаются от голода». Хотя я не очень-то верю в это. Да и нуждаюсь ли я вообще в утешениях? Можно ли утешить Якоба фон Гунтена? Пока я здоров, это исключено.

При желании, приказав себе, я могу испытывать почтение ко всему, даже дурному поведению, если только оно сорит деньгами. Дурные манеры должны рассыпать за собой двадцатимарковые купюры, и тогда я склонюсь, может быть, даже наклонюсь за ними. Господин Беньямента, кстати, того же мнения. Он говорит, что неправильно презирать деньги и даруемые ими преимущества. Кроме того, дело ученика пансиона Беньяменты по

преимуществу почитать, а не презирать... Теперь о другом. Гимнастика — это прекрасно. Люблю ее страстно и, конечно, я хороший гимнаст. Дружить с человеком благородной души и заниматься гимнастикой — вот два лучших занятия в мире. Танцевать и встретить человека, которого хочется уважать, — для меня это одно и то же. Люблю движения души и тела. Даже просто задирать ноги — как это здорово! Заниматься гимнастикой тоже глупо, конечно, проку в этом нет никакого. Неужели ни в чем нет прока из того, что я люблю и чем дорожу? Но, тихо! Что там такое? Меня зовут. Я вынужден прерваться.

«Искренен ли ты в том, чего добиваешься?» — спросила меня учительница. Это было под вечер. Что-то багровое было сбоку, — верно, отблеск гигантской и прекрасной зари. Мы стояли в дверях моей комнаты. Я как раз собирался к себе — предаться своим мечтам. «Фройляйн Беньямента, — сказал я, — неужели вы сомневаетесь в том, что помыслы мои серьезны и честны? Неужели я похож на обманщика, на шарлатана?» Вид у меня, по моему, был прямо трагический при этих словах. Она повернула ко мне свое красивое лицо и сказала: «Угомонись, успокойся. Ты славный мальчик. Резкий немного, но хороший, порядочный, милый. Ну, ты доволен? А? Что скажешь? Хорошо ли ты заправляешь по утрам свою койку? А? А уж предписаниям ты, верно, давно не подчиняешься? Нет? Или все же да? О, с тобой все в порядке, я уверена. И никакими похвалами тебя не испортишь. Лей их на тебя хоть ведрами. Ты только представь себе — полные ведра и баки самых лестных похвал. А сколько потом нужно потрудиться тряпкой, чтобы собрать их и выжать — все те лестные слова в твой адрес, которые ты заслужил. Но теперь я о серьезном. Хочу сказать тебе кое-что на ухо. Выслушаешь или сбежишь к себе в комнату?» — «Говорите, сударыня. Я слушаю», — сказал я в тревожном ожидании. Внезапно по лицу учительницы пробежал ужасный испуг. Овладев собой, она сказала: «Я ухожу, Якоб, ухожу. И уношу пока эту тайну с собой. Не могу тебе ее еще открыть. Быть может, в другой раз. Ладно? Завтра, может быть, или даже через неделю. И тогда будет не поздно. Скажи, Якоб, ты хоть немножко любишь меня? Значу ли я хоть что-нибудь для тебя, для твоего юного сердца?» Она стояла передо мной, гневно сжав губы. Я быстро склонился к ее руке, грустно свисавшей, как ветвь, вдоль ее тела, и поцеловал ее. Я был счастлив, что таким образом выразил ей давнишние свои чувства. «Ты меня ценишь?» — спросила она высоким, из-за высоты своей, почти сдавленным, умершим голосом. Я ответил: «Как вы можете сомневаться? Я так несчастлив». Но меня возмутило то, что я чуть не заплакал. Я отбросил ее руку и принял почтительную позу. И она ушла, чуть ли не с мольбой посмотрев на меня. Как все здесь, в некогда неприступном заведении Беньяменты, изменилось! Будто все скрючилось и увяло — и упражнения в муштре, и предписания. Живу ли я в мертвом доме или в небесных чертогах любви и радости? Что-то случилось, но не пойму пока что.

Я решился заговорить о семействе Беньямента с Краусом. Потускнел, мол, как-то блеск нашего пансиона, и не знает ли он, в чем дело? Он рассердился: «Тебя прямо распирают дурацкие фантазии. Какая чушь лезет тебе в голову. Работал бы лучше, делал что-нибудь и ни о чем не думал бы. А то все вынюхиваешь только, собираешь сплетни. Пошел прочь. Глаза б мои тебя не видели». — «С каких это пор ты стал таким грубияном?» — спросил

я, но все же предпочел оставить его в покое... В течение дня мне потом представилась возможность поговорить о Краусе с фройляйн Беньямента. Она сказала: «Да, Краус не такой, как другие люди. Сидит тут, пока не возникнет в нем нужда, а позовут его, так несется стрелой. Он не из тех, кто греется в лучах славы. Его не будут даже хвалить и вряд ли — благодарить. Будут лишь требовать: сделай то, подай это. И никто не поймет, пользуясь его услугами, насколько совершенно он служит. Как личность Краус ничто, зато как слуга, как исполнитель он не знает себе равных, однако из-за скромности его этого никто не заметит. Вот тебя, Якоб, все хвалят, всем доставляет удовольствие сделать тебе приятное. Краусу же никто не скажет доброго слова. Ты человек совсем непутевый — по сравнению с Краусом. Но ты обаятельнее. Иными словами я сказать тебе этого не могу, не поймешь. А Краус нас скоро покинет. Это потеря, Якоб, о, это большая потеря. Кто же останется, когда Крауса не будет с нами? Ты, Якоб. Ты не сердишься, что я так говорю? Ведь это правда. Ты сердишься, потому что мне жалко, что Краус уходит. Ревнуешь?» — «Вовсе нет. Я тоже сожалею о том, что Краус уходит», — сказал я. Я намеренно говорил очень официально. Я также испытывал грусть, но считал нужным подпустить немного холодности.

Потом я еще раз попытался завязать разговор с Краусом, но он крайне резко отверг мои попытки. Мрачно сидел за столом, не говоря никому ни слова. Он тоже чувствует что-то неладное, никому только об этом не говорит, разве что себе самому.

Часто меня охватывает чувство какого-то большого внутреннего поражения. Тогда я становлюсь посреди комнаты и начинаю безобразничать. Впрочем, весьма по-детски. Водружаю на голову себе шапку Крауса или стакан воды или тому подобное. Или зову Ганса. С ним можно покидать шляпы на голову друг другу так, чтобы они застывали словно приклеенные. Как презирает нас всякий раз Краус за эти игры! Шахт три дня был в услужении, но потом снова вернулся и теперь чертыхается, недовольный, сердитый. Разве я не предсказывал давно уже, что дела Шахта в миру сложатся плохо? Вечно он будет вляпываться в такие места, должности и задания, которые будут ему не по сердцу. Вот и теперь он говорит, что чуть было не надорвался, попав к хитрым, ленивым и злобным начальникам, которые с первых минут стали нагружать его непомерной работой, мучить и издеваться над ним. О, я верю Шахту. Верю охотно, потому что считаю истинной правдой, что людям мнительным и обидчивым мир представляется грубым, наглым, жестоким. На какое-то время Шахт останется здесь. Мы немного посмеялись над ним для порядка — он ведь молодой человек и не должен думать, будто обладает какими-то особыми отличиями от других — умениями, навыками, преимуществами. Он пережил первое разочарование, а я уверен, что их будет у него еще двадцать. Для определенного типа людей жизнь с ее волчьими законами представляет собой лишь цепь мрачных впечатлений и жестоких ударов, подавляющих волю. Люди вроде Шахта рождены для страданий отверженности. Он хотел бы жить со всеми в согласии, но не может. Все суровое и безжалостное карает его десятикратно, потому что он воспринимает все в десять раз острее других людей. Бедный Шахт! Ведь он ребенок, ему бы наслаждаться звуками музыки, блаженствовать в обстановке безмятежности, мягкости, доброты. Ему бы внимать журчанью ручья и щебету

птиц. Возноситься, покоясь на белых нежных небесных тучках: «Ах, где это я?» Ручки его годятся для танца, не для работы. Обвевать бы его легким ветрам, как опахалом, обволакивать сладким шепотом. Смежить бы глаза ему в сладкой дреме, а проснувшись на теплых, блаженных подушках, понежиться еще бестревожно. Для него, в сущности, нет подходящего занятия, ибо всякая деятельность противоестественна для человека с такой внешностью. Я настоящий грубо сколоченный батрак рядом с Шахтом. Он будет разбит на осколки, как ваза, и однажды кончит свои дни в лечебнице или тюрьме, искалеченный, опустошенный. Теперь он, стыдясь, слоняется по углам класса, страхась отвратительного и неизвестного будущего. Фройляйн взирает на него озабоченно, но ее так мучит теперь что-то свое, что ей не до Шахта. Да и помочь ему она бы не могла. Помочь ему мог бы и должен был бы разве что бог, но богов нет, есть только один господь, который слишком велик, чтобы помогать малым. Помогать да утешать — слишком ничтожное занятие для всемогущего, так я чувствую по крайней мере.

Фройляйн Беньямента теперь каждый день перебрасывается со мной несколькими словами, то на кухне, то в опустелом, тихом классе. Краус держится так, будто собирается еще десять лет пробыть в нашем пансионе. Он по-прежнему учит уроки монотонно и без всякого неудовольствия на лице, то есть как раз с неудовольствием на лице, но оно у него было всегда, постоянно. Этот человек не способен на спешку или нетерпение. «Подождем» — это слово будто написано на его спокойном величавом лбу. Да, фройляйн тоже однажды сказала, что Краус обладает величием, и это правда, в неприметности его существа и существования скрыто что-то величаво-властное. К моей фройляйн я осмелился вчера обратиться со следующей речью: «Если в моем сердце хотя бы раз, хотя бы один-единственный, ничтожно малый раз шевельнулось по отношению к вам какое-либо другое чувство, кроме чувства бесконечной преданности и почтения, то я бы возненавидел себя, уничтожил, повесил, отравил страшным ядом, перерезал горло себе какой-нибудь бритвой. Но это невозможно, фройляйн. Я не мог ничем вас обидеть. Одни глаза ваши — они светили мне как высшее указание, как непреложный и прекрасный завет. Нет, нет, я говорю правду. А когда вы появлялись в дверях! Здесь мне не надо было ни неба, ни луны, ни солнца, ни звезд. Вы, вы были для меня всем. Я не лгу, фройляйн, и смею надеяться, что вы чувствуете, насколько слова мои далеки от какой бы то ни было лести. Мне противно думать о будущем преуспейании, я боюсь жизни. Да, это так. И все же мне, как и Краусу, придется вскоре вступить в эту ненавистную жизнь. Вы были для меня воплощением здоровья. Читал ли я книгу, я в ней видел только вас, вы были для меня книгой. Да, да, так оно и есть. Я часто вел себя дурно. Не раз вы должны были удерживать меня от провалов в высокомерие, которое тщилося погрести меня под обломками вздорных фантазий. Но вы всегда побеждали, всегда. Как я вслушивался в то, что говорила нам фройляйн Беньямента! Вы улыбаетесь? Да, ваша улыбка всегда напоминала мне о добре, храбрости, истине. Как вы были добры ко мне. Слишком, слишком добры ко мне, упрямец. А стоило вам взглянуть на меня, как все мои пороки и прегрешения толпой устремлялись к ногам вашим, чтобы молить о прощении. Нет, нет, я не хочу уходить отсюда в мир. Презираю заранее всякое будущее. Как я радовался, когда вы входили в класс, и как дурачился потом в своих мыслях. Да, я должен в этом признаться, в мыслях я

частенько пытался найти в вас хоть какой-нибудь изъян, который мог бы умалить ваше достоинство, но как я ни изошрялся, я не мог найти ни единого слова, которое могло бы бросить тень, умалить в моих глазах то, чему я поклонялся. А наказанием мне всякий раз было раскаяние и беспокойство. Да, фройляйн, я всегда должен был почитать вас, мне нельзя было иначе. Вы не сердитесь, что я так говорю? Я-то, я рад, что говорю вам все это». В ее глазах сверкнула улыбка. Чуть насмешливая, но и довольная. Было заметно, что мысли ее витают далеко. Она была словно в забытии, и только поэтому я осмелился так говорить с ней. Впредь остерегусь это делать.

Дело это, конечно, не мое, однако нельзя не заметить, что новых учеников в пансионе давно уже нет. Может быть, престиж господина Беньяменты как воспитателя пошатнулся или вовсе упал? Было бы жаль. Но, возможно, все это плод моего воображения. Нервы, если этим словом можно назвать известное напряжение и в то же время усталую дряблость наблюдательных способностей. В атмосфере хрупкости, которая царит здесь, чувствуешь себя, как в воздухе, а не на земле. И потом, постоянное бдение сознания и сознательности тоже может иметь последствия. Все возможно. Когда постоянно чего-то ждешь, то ослабеваешь. Тем более когда запрещаешь себе ждать и прислушиваться, потому что это возбраняется. Это тоже требует сил. Часто фройляйн подолгу стоит у окна и смотрит куда-то вдаль, как будто ее уже нет с нами. Да, вот это и есть то нездоровое и неестественное, что плетет здесь свою паутину: мы все живем здесь так, будто находимся где-то в другом месте.

Дышим, едим, спим, бодрствуем, учим и учимся — как во сне. Словно крылья наши скованы неумолимой и властной силой. Может, мы прислушиваемся к тому, что будет потом? После нас? Тоже возможно. А что будет, если все мы, теперешние воспитанники, уйдем, а других учеников не появится? Что тогда? Будут ли Беньямента влачить жалкое, одинокое существование? Стоит мне только представить себе это, как я чувствую себя больным. Нет, никогда, ни за что. Этого нельзя допустить. И все же против этого ничего нельзя поделать. Ничего нельзя поделать?

Действовать — значит не раздумывать, а быстро и спокойно войти в суть того, что должно быть исполнено. Омочить себя в водах усердия, закалиться под ударами необходимости. Терпеть не могу так умничать. И собирался-то я пораскинуть мозгами совсем о другом. Ах да, о господине Беньяменте. Снова был у него в канцелярии. Все пристаю к нему по поводу места. И на сей раз спросил, как обстоит с этим дело, могу ли надеяться и т. д. Он чуть не взбесился. О, он и теперь еще способен на бешенство, и я немало рискую, когда дразню его. Спросил я громко, нагло, дерзко. Директор даже смутился и стал почесывать за ухом. Уши у него не то чтобы большие, просто он сам весь очень большой, поэтому и уши кажутся большими, хотя они просто соразмерные. Наконец он подошел ко мне, улыбнулся, как ни странно, добродушной улыбкой и сказал: «В люди захотел, Якоб? Я же советую тебе пока остаться. Ведь здесь для тебя и для таких, как ты, очень хорошо. Или нет? Подожди еще немного. Я бы даже советовал тебе побыть немного бездумным и рассеянным бездельником. Тогда бы ты увидел, что то, что называют пороками, имеет большое значение в жизни людей, что пороки важны, почти,

можно сказать, необходимы. Если б не было в мире пороков и грехов, мир был бы холоден, скучен, беден. Не было бы половины мира, и может быть, более прекрасной половины. Так что стань ленивцем на время. Нет, нет, пойми меня правильно, оставайся таким, как ты есть, каким ты стал здесь, но, пожалуйста, прикинься на время эдаким разгильдяем. Хочешь? Согласен? Я был бы рад увидеть тебя шалопаем. Мечтателем каким-нибудь с отрешенным видом и отсутствующим взглядом. Идет? А то в тебе слишком много воли, слишком много характера. И гордости, Якоб! О чем ты, собственно, думаешь? Может, рассчитываешь многого добиться, достичь? Питаешь какие-нибудь серьезные намерения? Иной раз — к сожалению — ты производишь на меня такое впечатление. Или, напротив, ты хочешь остаться — из упрямства — человеком маленьким, незаметным? И этого от тебя можно ожидать. Есть в тебе что-то торжественное, бурное, величавое, как в триумфаторе. Но все это не важно, тебе надо остаться, Якоб. Я не дам тебе места, еще долго не дам. Ты мне, видишь ли, еще нужен. Едва появился, как уже бежать? Так нельзя. Лучше поскучай еще здесь, в пансионе, сколько можешь. О, маленький завоеватель, в мире, куда ты так рвешься, тебя ожидает целое море скуки, одиночества, безделья. Оставайся. Потомись еще немножко. Ты ведь не знаешь еще, сколько величия в тоске, в ожидании. Так что подожди. Пусть распирает тебя изнутри. Но не слишком. Меня, знаешь ли, ранил бы твой уход, ранил бы смертельно, просто убил. Можешь теперь посмеяться надо мной, смейся во все горло, прошу тебя. Разрешаю. Однако что еще я могу тебе разрешать или запрещать, если, как видишь, я почти завишу от тебя? Мне страшно, меня обуревают гнев, и я счастлив оттого, что так случилось. Ведь я впервые встретил человека, который мне люб. Ты не можешь понять этого. Ступай. Марш. Ступай быстрее. Знай, что я могу еще покарать. Бойся!» Ну вот он и взбесился. Я поторопился скрыться от его сверлящих глаз. Вот уж глаза так глаза! Им я поверил больше, чем слову «Бойся!», и пулей вылетел из канцелярии, нет, быстрее пули. Да, страх перед ним иной раз оправдан. Я бы стыдился не иметь в душе страха, ибо это означало бы, что у меня нет и мужества, потому что мужество — это и есть преодоление страха. И опять в коридоре я приложил ухо к замочной скважине, и опять в комнате было тихо. Как истый воспитанник, я не забыл высунуть и язык в сторону двери, а потом рассмеяться. Никогда в жизни, пожалуй, так не смеялся. Разумеется, тихо. То был самый сильный и самый сдавленный смех. Когда я так смеюсь, то не чувствую над собой никакой власти. Тогда никто не может сравняться со мной во всемогуществе. Я просто велик в такие моменты.

Да, я все еще в пансионе Беньяменты, все еще подчиняюсь принятым здесь правилам, все еще хожу на уроки, где задают вопросы и отвечают на них, все мы еще вскакиваем по команде, а Краус по утрам колотит в дверь и кричит: «Вставай, Якоб!» — все еще мы, воспитанники, говорим: «Доброе утро, фройляйн!» — когда она входит, и «Спокойной ночи!» — при прощании вечером. Мы все еще барахтаемся в немилосердных когтях многочисленных предписаний и без конца повторяем одни и те же поучения. Я меж тем побывал в настоящих внутренних покоях и должен сказать, что таковых не имеется вовсе. Есть две комнаты, но они совсем не выглядят как покои. Они меблированы как сама рачительность и рутина, и в них нет ничего таинственного. Странно! Как это могло

прийти мне в голову, что Беньямента живут в покоях? Или я видел сон, а теперь проснулся? Однако в покоях имеются все же золотые рыбки, которым мы с Краусом должны менять воду и чистить аквариум. Но разве это похоже хоть чем-нибудь на волшебство? Золотых рыбок может позволить себе любое семейство среднего прусского чиновника, то есть круг людей самых заурядных и пошлых на свете. Чудеса какие-то! А я так верил в эти внутренние покои. Я думал, что за той дверью, через которую входит и выходит фройляйн, имеется целая анфилада комнат, как в замке. За простенькой дверью я угадывал причудливо изогнутые винтовые лестницы и лестницы другие — широкие, каменные, покрытые коврами. Воображение рисовало мне древнее книгохранилище и длинные, светлые, устланные циновками коридоры из одного конца здания в другой. Глупая голова моя способна основать акционерное общество для распространения прекрасных и неосновательных фантазий. Капитала, на мой взгляд, достаточно, фондов тоже хватает, а держатели таких бумаг есть всюду, где не умерла еще вера в прекрасное. Чего только я бы не приобрел! Сад, конечно, прежде всего. Без сада я не мыслю существования. В саду часовня, но, как ни странно, не развалина в романтическом вкусе, а тщательно отреставрированная, маленькая протестантская молельня. За завтраком сидит пастор. И все такое прочее. Обеды, охота. По вечерам танцы в рыцарском зале, на высоких, темного дерева стенах которого висят портреты предков. Каких предков? Виноват, этого я не могу открыть. И уже раскаиваюсь в том, что опять предался поэтическим фантазиям. Снег пригрезился мне, хлопья снега во дворе замка. Крупные, мокрые хлопья, дело было зимой, в холодных сумерках, на рассвете. И потом я увидел нечто прекрасное, какой-то зал, да, роскошный зал. Три почтенные знатные старухи сидели у потрескивавшего, хихикающего камина. Они вязали. Что за убогая фантазия — и в грезах видеть лишь то, как плетут да вяжут. Но именно это мне показалось волшебным. Будь у меня враги, они бы сказали, что я ненормален, и они были бы правы, меня стоило бы презирать за привязанность к милым, домашним крючкам. Потом была чудесная вечерняя трапеза с зажженными свечами в серебряных канделябрах. За столом в ослепительном блеске непринужденно болтали. Воображение мое работало четко и щедро. А женщины, какие женщины! Одна из них выглядела как настоящая принцесса — и была ею. Рядом с ней сидел англичанин. Как колышутся и трепещут женские платья, как вздымаются и опускаются груди! Вся столовая благоухает изысканными духами. Великолепие соединилось здесь со сдержанной учтивостью, хороший тон с наслаждением, радость с деликатностью, как это присуще родовитой знати. Потом видение исчезло и появилось новое, другое. Да, внутренние покои были полны жизни, а теперь их у меня как будто украли. Суровая действительность — каким она все же бывает разбойником. Ворует вещи, с которыми ей нечего делать. Просто ей в радость поозоровать, причинить людям горе. Горе, впрочем, мне любо, очень, очень любо. Оно учит.

Генрих и Жилинский ушли. Помахали ручкой и сказали «адьё». И с глаз долой. Вероятнее всего, не вернутся. Какая быстротечная вещь прощание. Хочешь что-то сказать, но ничего подходящего не приходит в голову, поэтому либо молчишь, либо несешь какую-нибудь галиматью. Нет, провожать кого-нибудь или уходить самому — мука мученическая.

Словно чья-то рука трясет человеческую жизнь в такие моменты, и понимаешь, насколько ты мал и ничтожен. Скорое прощание безлюбовно и холодно, медленное — невыносимо. Не зная, что делать, стоишь и мелешь всякий вздор... Фройляйн Беньямента обратилась ко мне с совершенно необычными словами. «Якоб, — сказала она, — я умираю. Не пугайся. Поговорим спокойно. Откуда вообще взялась такая доверительность между нами? Сразу как ты здесь появился, мне показалось, что у тебя нежная душа. Пожалуйста, не перебивай меня фальшиво-искренними восклицаниями. Ты тщеславен. Ты тщеславен? Знаешь, дни мои сочтены. Будешь молчать? Никому не говори о том, что сейчас услышишь. Прежде всего, твой директор, а мой брат, не должен ничего знать о нашем разговоре, заруби себе это на носу. Но нет, ничего, ведь мы не в аффекте, ты тоже спокоен, я вижу, и сдержишь слово и никому ничего не скажешь, я знаю. Что-то словно точит меня. Я таю и знаю, что со мной. Это так печально, мой юный друг, так печально. Но я надеюсь на твоё мужество, Якоб. Ты ведь сильный, я знаю. И у тебя есть сердце. Краус не смог бы выслушать меня до конца. Мне так нравится, что ты не плачешь. Мне было бы крайне неприятно, если б глаза твои уже теперь увлажнились. Для этого еще будет время. И ты так хорошо слушаешь. Ты слушаешь историю моего несчастья, как милый, изящный и обычный рассказ, не более — вот так ты слушаешь. Ты ведешь себя превосходно, когда стараешься. Правда, в тебе есть надменность, это мы знаем, не правда ли, Якоб? Молчи, ни звука. Да, Якоб, смерть (о, какое ужасное слово!) пришла за мной. Как я перед тобой, так стоит передо мной она и дышит на меня своим зловонным и холодным дыханием, и я вяну, вяну. Мне уже нечем дышать. Ты опечален, Якоб? Скажи, опечален? Немножко, не правда ли? Но выкинь пока все из головы, слышишь? Забудь! Я еще приду к тебе и скажу, как обстоят мои дела. Не правда ли, ты постарайся все забыть? Подойди-ка. Дай я прикоснусь к твоему лбу. Ты молодец». Она притянула меня к себе и не поцеловала, а скорее дыхнула мне на лоб. Так что о прикосновении не было и речи. Потом она тихо ушла, оставив меня наедине со своими мыслями. Мыслями о ней? Куда там! Думал я опять только о том, где бы раздобыть денег. Таков уж я, так грубо сколочен, такой ветер гуляет у меня в голове. И кроме того: сердечные потрясения заполняют мне душу ледяным холодом. Если есть у меня причины для печали, то печаль от меня ускользает. Я не лгу. И потому, что не люблю этого, и потому, что не вижу смысла лгать себе самому. Если уж лгать, то кому-нибудь другому. Но все же что это: фройляйн Беньямента, на которую я молюсь, говорит такие ужасные вещи, а я живу себе дальше, как ни в чем не бывало, и даже не плачу? У меня низкая натура, вот что. Но хватит! Предаваться самоуничтожениям я тоже не хочу. Я упрям, а поэтому... Ложь, все это сплошная ложь. Ведь я заранее знал обо всем. Знал? Опять ложь! Совершенно невозможно сказать себе правду. Во всяком случае, я подчиняюсь фройляйн и никому не скажу ни слова. Подчиняться ей! Покуда я ей подчиняюсь, с ней ничего не случится...

Допустим, я солдат (а по природе моей я был бы отличным солдатом), простой пехотинец, служу под началом Наполеона, и вот нам вышел приказ выступить на Россию. С товарищами мы живем душа в душу, совместно пережитые трудности и лишения, совместно пролитая кровь спаяли нас, как железо. Взгляд наш свиреп. И эта свирепость, эта глухая и темная ярость сковывает нас воедино. Мы на марше, ружья у нас за плечами.

В городах, через которые мы проходим, нас встречают праздные, вялые, деморализованные стуком наших сапог толпы. Но потом города кончаются или встречаются очень редко, бесконечная равнина убегает из-под наших ног к жидкому горизонту. Точнее сказать — уползает. И вот уже пошел снег и засыпал нас, но мы не сбавляем шагу. Ноги стали теперь самым главным. Часами взгляд мой прикован к мокрой земле. Досуг, достаточный для раскаяния, для копания в себе. Но я по-прежнему держу шаг, выбрасываю ноги вперед, марширую. Ноги движутся, как барабанные палочки. Время от времени в дальней дали возникает тонкая, как лезвие перочинного ножа, полоска леса. А достигнув через много часов опушки леса, мы будем знать, что на другом конце его нас опять ждет бесконечная равнина. Время от времени падают выстрелы. Эти возгласы пуль напоминают нам о предстоящем, о битвах, в которых будем мы биться. А пока мы все шагаем, шагаем. Вдоль колонны скачут взад-вперед с печальными минами на лице офицеры; подстегивают своих лошадей, словно в панике от грядущих ужасов, адъютанты. Голова занята мыслями об императоре, полководце, мыслями неясными, смутными, но все равно: представишь себе, как он выглядит, — и какое в этом обретишь утешение. И снова вперед, все дальше и дальше. Бесчисленные мелкие, но досадные препятствия преграждают нам путь. Правда, мы едва обращаем на них внимание, шагаем дальше. Потом мной овладевают воспоминания, как будто расплывчатые и в то же время предельно четкие, рвущие мне сердце на части, как хищники желанную добычу. Они переносят меня домой, к округлым холмам в золотых виноградниках, объятых нежным туманом. В душу мне западает звук колокольчиков, повешенных на коровьи шеи. Надо мной ласковое, переливчатое, цвета воды небо. Чуть с ума не сошел от тоски, но шагаю дальше. Товарищи мои слева и справа, спереди и сзади, вот и все, что есть у меня. Ноги работают, как старая, но все еще годная машина. Горящие деревни давно стали пресной и скучной пищей для глаз, как давно уже не удивляют никакие жестокие проявления человеческой природы. Как-то вечером, когда стужа свирепела все больше, свалился с ног мой товарищ — допустим, Чарнер. Я хотел было поднять его, но раздался офицерский окрик: «Не трогать, пусть лежит!» И мы пошагали дальше. Однажды в один прекрасный день мы увидели нашего императора, его лицо. Он улыбался, он просто очаровал нас своей улыбкой. Да, этому человеку не пришлось бы в голову лишать солдат мужества и бодрости мрачностью своего вида. Укрепив веру в победу, заранее мысленно выиграв предстоящие битвы, мы шагаем дальше навстречу пурге. А потом, после бесконечных переходов, дело дошло бы наконец до сражений, и я бы, возможно, в них уцелел и шагнул бы дальше. «Ну а теперь держим путь на Москву, слышал?» — сказал бы кто-то в наших рядах. По непонятной мне самому причине я ему не ответил. Я превратился в колесико огромной машины, перестав быть человеком. Душа засохла: ни родителей, ни родственников, ни песен, ни мук, ни надежд, ни всего того, что составляло смысл и прелесть жизни дома. Солдатская муштра и терпение превратили меня в крепкий, непроницаемый, лишенный всякого содержания комок энергии. И я катился себе по дороге на Москву. Я давно бы уже не проклинал жизнь, давно бы уже перешел ту черту, когда это еще имеет смысл, давно бы не чувствовал ни боли, ни тоски, ни угрызений совести. Вот что, по-моему, значило бы быть солдатом Наполеона.

«Ну ты и тип! — сказал мне Краус ни с того ни с сего, — ты из тех, кто, ничего собой не представляя, вечно задирает нос, считая себя умнее всех на свете. Да, знаю я тебя, молчи уж! Ты во мне видишь пресного прислужника порядка. Пусть. А что за душой у тебя и таких, как ты, хвастунов, издевающихся над серьезностью и порядком? Ты, может, думаешь, что своими прыжками да ужимками обеспечишь себе золотые горы? Ты всего-навсего вертлявый плясун, вот тебе имя. Смеяться над тем, что правильно и прилично, — это ты умеешь, в этом ты и такие, как ты, мастера. Но подождите! Ради ваших красивых глаз еще никто не отменял ни грома с молнией, ни ударов судьбы. И трудностей в жизни — в угоду вашей грации — не убавилось. Выучил бы лучше наизусть свой урок, чем показывать, как ты меня презираешь за то, что я учу. Тоже мне господинчик! Желает демонстрировать мне свои капризы. А Краус, чтоб ты знал, презирает такое жалкое актерство. Сделай что-нибудь! Уж в сотый раз твержу тебе одно и то же. Вот что, Якоб, князь мироздания: оставь меня в покое. Отправляйся на завоевание мира. Я уверен, кое-что само свалится тебе к ногам и тебе нужно будет только дать себе труд нагнуться. Все ведь норовят подольститься к вам, фанфаронам, оделить вас подарками. Что такое? Ты все еще держишь руки в карманах? Впрочем, я тебя понимаю. Кому сами летят в рот жареные утки, зачем тому действовать, двигаться, совершать какую-то работу? Так что зевай на здоровье.

Так оно лучше будет. Вид у тебя уверенный, спокойный, в меру скромный. Или хочешь поделиться добытой в праздности мудростью? Изволь! Я весь внимание. Нет, лучше уйди. Весь твой вид меня раздражает, ты, старая... Вот, чуть не выругался. Ходит тут, провоцирует на непотребные выражения. Затаись лучше или исчезни. А то потерял всякие приличия по отношению к начальству. Да, я уж видел. Но зачем я вообще говорю с таким шутлом гороховым? Ты, я готов признать это, был бы вполне сносным человеком, если б не был таким шутлом. Если б ты согласился с этим, я бы бросился тебе на шею». — «О Краус, — вскричал я, — зачем ты бранишься? Зачем насмешничаешь — ты, самый дорогой мне из всех людей? Отчего это?» Я легко рассмеялся и поплелся к себе. Скоро здесь, в пансионе Беньяменты, вообще не останется ничего другого, как вот так слоняться из угла в угол. Похоже на то, что наши «дни сочтены». Но, может быть, ошибается тот, на кого пансион производит такое впечатление. Может быть, ошибается фройляйн Беньямента. Может быть, даже и господин директор. Может быть, все мы ошибаемся.

Я стал Крезом. Правда, что касается вожделенных денег, то... тихо, не о деньгах у нас речь. Я веду странную двойную жизнь, упорядоченную и беспорядочную, подконтрольную и бесконтрольную, простую и крайне сложную. Что имеет в виду господин Беньямента, говоря, что никого еще не любил в своей жизни? Как может он говорить это мне, своему подданному и рабу? Да, мы не кто иные, как подданные и рабы, молодые, оторванные от ветвей и стволов, выданные ветрам и бурям и уже слегка пожелтевшие листья. Ураган ли господин Беньямента? Вполне возможно, ибо мне не раз приходилось чувствовать на себе раскаты его гнева, его яростные порывы. И потом, он настолько всемогущ, насколько я, воспитанник, ничтожен. Тихо, не о власти речь. Нельзя не впасть в заблуждение, когда употребляешь высокие слова. Господин Беньямента так

подвержен слабости и потрясениям, так подвержен, что порой хочется смеяться над ним, издеваться над ним. Я полагаю, что сильных людей в этом мире нет, что человек попросту дрожащая тварь. И вот эта-то мысль, дарованная этим озарением уверенность и делает меня Крезом, то есть Краусом. Краус не знает ни ненависти, ни любви, поэтому он Крез, почти неуязвимый Крез. Он как скала, а жизнь, как слепая волна, понапрасну разбивает себе грудь о его добродетели. Вся натура, все существо его пронизано добродетелями. Едва ли его можно любить, не говоря уж о том, чтобы ненавидеть. Любят все красивое, привлекательное, отчего оно так часто становится жертвой глумления и надругательств. Жующая, жрущая нега жизни не осмеливается подступить к Краусу. Он одинок, но крепок и неприступен, как титан, полубог. Однако этого никто не понимает, не понимаю и я. Как часто я думаю и говорю о собственном понимании. Я, пожалуй, мог бы стать священником, основателем какой-нибудь религиозной секты или движения. Собственно, я могу еще это успеть. Я могу многое сделать. А что же Беньяmenta? Не сомневаюсь, что скоро он расскажет мне свою жизнь. Не устоит перед потребностью высказаться, поделиться своим сокровенным. Вполне вероятно. И, странное дело, иногда возникает такое чувство, что я никогда-никогда не смогу расстаться с этим великаном, что мы составляем с ним единое целое. Но как часто обманывает подобное чувство. Во всяком случае, мне нужно быть начеку. Впрочем, не слишком. Быть излишне бдительным означает быть дерзким. Зачем дразнить то, чего не минуешь? Ведь я так мал. Вот этого мне и нужно держаться изо всех сил — что я мал и ничтожен. А фройляйн Беньяmenta? Неужели она действительно умрет? Боюсь думать об этом, запрещаю себе. Какое-то шестое чувство запрещает мне это. Нет, я не Крез! А что до двойной жизни, то ведь всякий ведет таковую. Чего уж распинаться?! Ах, эти мысли, эта тоска, этот надрыв, это судорожное нащупывание смысла! Эти грезы, эти сны! Буду ждать, что придет. Что придет, то придет.

Пишу в страшной спешке. Весь дрожу. Буквы прыгают у меня перед глазами. Случилось что-то ужасное, то есть кажется, что случилось, я едва сам могу все осознать. У господина Беньяменты был приступ, и он чуть не задушил меня. Неужели это правда? Мысли мои расплзаются, и я сам не могу понять, на самом ли деле так было. Но по тому, в каком смятении я нахожусь, я догадываюсь, что так и было. Директора обуяла несказанная ярость. Он походил на Самсона, легендарного палестинского героя, который до тех пор колебал столпы переполненного людьми здания, пока сей нечестивый дворец, сей каменный колосс — символ зла — не рухнул. Правда, здесь, всего час назад, речь шла вовсе не о ниспровержении низости и зла, и столпов и колонн тоже не было, но все было так, в точности так, как и тогда, и меня впервые в жизни охватил самый настоящий заячий страх. Да, я превратился в зайца, и в самом деле у меня были основания пуститься наутек, иначе мне бы несдобровать. Я едва ускользнул от сверкнувших, можно сказать, как молнии, его кулаков, успев, как мне кажется, укусить за палец этого Голиафа. Может быть, быстрый, энергичный укус спас мне жизнь, если только резкая боль, которую он испытал, напомнила ему о принятых между людьми нормах приличия. Так что грубому нарушению предписаний я обязан на сей раз тем, что уцелел. Опасность и впрямь была велика, но откуда она возникла? Как могло дойти до этого? Он бросился на меня как

бешеный. Его мощное тело рванулось ко мне, как сумасшедший сгусток свирепого гнева, словно гигантская волна хлестнула по комнате, чтобы разmozжить меня о стену. Воды, конечно, не было и в помине. Все это глупости, я понимаю, но я еще не пришел в себя и туго соображаю. «Что вы делаете, глубокоуважаемый господин директор?» — закричал я в беспамятстве, бросившись к двери. В коридоре я снова, хоть и дрожа на сей раз всем телом, прильнул ухом к двери и стал слушать. И услышал тихий смех. Потом я прибежал сюда, в класс, плюхнулся на парту, сижу и не могу взять в толк, случилось ли все на самом деле или только привиделось мне? Нет, нет, все так и было. Скорей бы пришел Краус. Одному мне не по себе. Как было бы здорово, если б сейчас пришел добряк Краус, чтобы в очередной раз прочитать мне свои наставления. На меня бы сейчас благотворно подействовала легкая брань и в тоне занудливого брюзжания выволочка. Неужели я ребенок?

Собственно, я никогда не был ребенком, и поэтому, я полагаю, что-то детское останется во мне навсегда. Я только вырос и стал старше, но в душе все тот же ребенок. Самые дурацкие выходки так же тешат меня, как и много лет назад, но в том-то и дело, что сам я их никогда не совершал. Разве что пробил однажды голову брату, но такое событие дурацкой выходкой не назовешь. То есть, конечно, в жизни было немало всякого, но думать о чем-нибудь всегда казалось мне интереснее, чем делать. Я рано начал во всем, даже в глупости, искать глубину. Я не развиваюсь. По-моему, я, наверно, никогда не дам никаких ветвей. Когда-нибудь суть моя превратится в прах, в дуновение, я стану цветком и буду для собственного удовольствия источать легкий аромат, склоняя набок голову, которую Краус называет упрямой, надменной и глупой. Руки и ноги мои странно увянут, дух, гордость, характер — все, все сломается или увянет, и я буду мертв, не по-настоящему мертв, а так только, до некоторой степени, и просуществую так, паря между жизнью и смертью, может быть, лет шестьдесят. Я ведь не испытываю никакого почтения перед своим «я», я только наблюдаю его, оставаясь холодным. О, достичь бы теплоты! Как это было бы великолепно! Я сумею вновь и вновь достигать теплоты, ибо ничто личное, только мне свойственное, не будет препятствовать моему возгоранию. Я состарюсь. Но моя старость меня не страшит. Ничто не страшит меня. Как я счастлив оттого, что не вижу в себе ничего примечательного и замечательного! Быть и оставаться маленьким человеком. А случись вдруг, что какая-то рука, волна, судьба вознесет меня туда, где царят власть и могущество, да размету я тогда оказавшие мне предпочтение обстоятельства и да нырну в темную, безымянную глубь. Дышать я могу только в низине.

Я целиком согласен с действующими у нас все еще предписаниями в том, что глаза воспитанника и ученика жизни должны излучать бодрость и добрую волю. Да, в глазах должна светиться крепость души. Презираю слезы. И все же я плакал. То есть больше, пожалуй, в душе, но это-то и есть самое ужасное. Фройляйн Беньямента сказала мне: «Якоб, я умираю, потому что не нашла любви. Сердце, которого не взалкал достойный, умирает. Я прощаюсь с тобой, Якоб, уже теперь. Вы, мальчики, Краус, ты и другие, спойте у гроба, в котором я буду лежать. Вы будете сожалеть обо мне, я знаю. И каждый из вас положит на гроб свежий, может быть, еще росистый цветок. Под конец мне

хотелось бы облечь тебя сестринским, улыбчивым доверием. Да, Якоб, довериться тебе — это так естественно, потому что, глядя на тебя, каков ты теперь, ожидаешь, что и глаза твои, и уши, и твоё сердце, и душа созданы для того, чтобы понимать все и сочувствовать всему — даже самому неслыханному и несказанному. Я гибну от непонимания тех, кто должны были бы видеть меня и понимать, гибну от безумия разумной осторожности, от безлюбия, нерешительности и постоянной оглядки. Был некий человек, которому казалось, что он любит меня, но он колебался, не пошел за мной, я тоже колебалась, но ведь я девушка, я имею право и даже обязана быть нерешительной. Ах, как обманула меня неверность, как ужаснула пустота и бесчувственность сердца, в котором билось, как я верила, искреннее сильное чувство! То, что раздумывает и прикидывает, нельзя назвать чувством. Я говорю с тобой о человеке, верить в которого призывали меня горячие, страстные грезы. Я не могу сказать тебе все. Лучше помолчу. О, как ужасно та, что меня убивает, Якоб! Безутешность губительна. Но хватит об этом. Скажи, ты любишь меня, как любят младшие братья своих старших сестер? Вот и славно. Не правда ли, Якоб, все хорошо так, как есть? Не будем отчаиваться, жаловаться на судьбу, не так ли? Никогда ничего больше не желать — не правда ли, это прекрасно? Или нет? Да, да, это прекрасно. Подойди, я поцелую тебя. Один-единственный, невинный поцелуй. Не будь таким жестким. Я знаю, ты не любишь плакать, но теперь давай вместе поплачем. И посидим тихо-тихо». Она ничего не сказала больше. Казалось, что она хочет сказать еще многое, но не находит слов для своих ощущений. За окном, во дворе падал снег крупными мокрыми хлопьями. Это напомнило мне дворик в замке с внутренними покоями, где тоже шел такой мокрый снег. Внутренние покои! А я-то думал всегда, что фройляйн Беньямента хозяйка этих внутренних покоев. Я всегда представлял ее себе нежной принцессой. А теперь? Фройляйн Беньямента оказалась страдающей женщиной с нежной, уязвимой душой. Вовсе не принцессой. И однажды она будет лежать здесь в гробу. Губы застынут, а вокруг недвижимого лба будут виться обманные кольца волос. Но зачем рисовать себе такие картины? Иду к директору. Он меня вызвал к себе. С одной стороны, жалоба и труп девушки, с другой — ее брат, который, похоже, и не жил еще вовсе. Да, Беньямента напоминает мне запертого голодного тигра. И что же? Я отправлюсь в разверстую пасть? Была не была! Пусть хоть беззащитный воспитанник придаст ему мужества. Я помогу ему. Я боюсь его, и в то же время что-то во мне смеется над ним. Кроме того, он еще задолжал мне рассказ о собственной жизни. Он мне твердо обещал рассказать о ней, и я напомню ему об обещании. Да, таким он мне представляется: еще совсем не жившим. Хочет ли он теперь поживиться за мой счет? Может, потому и защищает он идею преступления? Это было бы глупо, очень глупо — и опасно. Но что-то толкает меня к нему, я должен пойти. Какая-то мне не понятная сила толкает меня вновь и вновь всматриваться и вслушиваться в этого человека. Пусть сожрет меня господин директор, изобьет, изничтожит. Я погибну тогда от собственного великодушия. Иду в канцелярию. Бедная учительница!..

С легким презрением, надо сказать, но вообще-то весьма по-свойски (потому-то и по-свойски, что с некоторым презрением), улыбаясь широкой, красивой улыбкой, директор похлопал меня по плечу. Улыбка обнажила его ровные зубы. «Господин директор, —

сказал я с невероятным возмущением, — вынужден просить вас оставить эту обидную фамильярность. Я пока еще ваш воспитанник. И решительно отказываюсь от каких-либо особых милостей и привилегий. Не делайте снисхождения для оборванца. Меня зовут Якоб фон Гунтен. Перед вами молодой, но вполне осознающий свое достоинство человек. Меня нельзя извинить, я это вижу, но меня нельзя и оскорбить — я этого не снесу». И с этими до смешного надменными и так не соответствующими нашему веку словами я оттолкнул руку господина директора. На это господин Беньямента осклабился еще больше и сказал: «Прости, что смеюсь, Якоб, не могу сдержаться, как не могу сдержаться, чтобы не расцеловать тебя, так ты мил». — «Расцеловать? — вскричал я. — Вы сошли с ума, господин директор? Этого бы еще не хватало!» Меня самого поразила дерзость моих слов, и я непроизвольно отступил на шаг, чтобы избежать удара. Однако господин Беньямента, весь доброта и снисходительность, сказал тоном странного удовлетворения: «Мальчишка, щенок, ты прекрасен. Я бы мог усыновить тебя и отправиться с тобой куда-нибудь в арктические льды или в пустыню. Подойди поближе. Да не бойся, черт тебя подери, я ничего тебе не сделаю, ничего. Да и что бы я мог тебе сделать? Я могу лишь находить в тебе редкие качества человека, но ведь это не страшно. Итак, Якоб, спрашиваю тебя совершенно серьезно: хочешь стать моим сыном и остаться со мной навсегда? Ты не понимаешь смысла вопроса, поэтому позволь объяснить тебе: здесь всему наступает конец, понимаешь теперь?» На что я глупо выкрикнул: «О, так я и думал, господин директор!» Он опять засмеялся и сказал: «Вот видишь, ты так и думал, что пансион Беньяменты доживает свои последние дни. Да, уже можно так сказать. Ты был последним учеником. После тебя я никого не принял. Взгляни на меня. Видишь, я рад, что успел еще познакомиться с тобой, юным Иаковом, таким правильно скроенным человеком. Успел, прежде чем закрыть свой пансион навсегда. И вот я спрашиваю тебя, хитрец, опутавший веселыми цепями мне душу, хочешь ли ты отправиться со мной вместе по дорогам жизни, хочешь попробовать предпринять что-нибудь со мной вместе, как сын с отцом? Отвечай только сразу». Я возразил: «Насколько я понимаю, господин директор, с ответом на такой вопрос можно и подождать. Но то, что вы сказали, заинтересовало меня, и я подумаю до завтра. И скорее всего, как мне кажется, соглашусь». — «Ты великолепен», — не сдержался тут господин директор. А потом, после некоторой паузы сказал: «С таким, как ты, можно выступить навстречу опасностям, навстречу бурным, неизведанным приключениям жизни. И в то же время с тобой можно прожить спокойно, уютно и трезво. В тебе словно бы кровь обоих сортов — нежная и неустрашимая. В тебе можно почерпнуть и мужество, и деликатность». — «Не льстите мне, господин директор, — сказал я, — это неприятно и подозрительно. И потом — стоп! Где обещанная история вашей жизни, или вы забыли о своем обещании?» В это мгновение кто-то распахнул дверь. Краус, а это был он, ворвался в комнату, бледный, запыхавшийся, не в состоянии произнести то, что, очевидно, дрожало у него на губах. Он только судорожным жестом позвал нас за собой. Мы втроем вошли в полутемный класс. То, что мы там увидели, потрясло нас.

На полу лежала бездыханная фройляйн. Господин директор взял ее руку, но тут же выронил ее как ужаленный и отпрянул в ужасе. Потом он опять приблизился к мертвой,

посмотрел на нее, отошел в сторону и снова вернулся к ней. Краус опустился на колени у ее ног. Я двумя руками держал голову учительницы, чтобы она не касалась пола. Ее глаза были еще раскрыты, не слишком широко, но все же так, что блестили. Господин Беньямента закрыл их. Он тоже опустился на колени. Мы, трое, молчали, но не были «погружены в свои мысли». Я, во всяком случае, не мог ни о чем думать. Но был совершенно спокоен. Я даже чувствовал — экая суетность, — что хорошо выгляжу. Откуда-то издалека доносилась тоненькая мелодия. Все медленно кружилось или покачивалось у меня перед глазами. «Возьмите ее, — тихо сказал господин директор, — поднимите. Отнесите в комнату. Осторожно, осторожно, о, пожалуйста, осторожно. Тише, Краус. Ради бога, не так резко. Якоб, будь внимателен, ладно? Не ударьте ее обо что-нибудь. Я помогу вам. Так, теперь медленно пошли вперед. Один кто-нибудь пусть протянет руку и откроет дверь. Так, хорошо. Только поосторожнее». Он произносил, по моему, совершенно лишние слова. Мы отнесли фройляйн Лизу Беньямента на кровать, с которой директор поспешно сдернул покрывало. Она лежала перед нами так, как предсказывала мне. Потом пришли остальные ученики, и все мы сгруппировались у кровати. Господин директор подал нам знак, и все мы, воспитанники, приглушенными голосами запели. То была та самая жалобная песнь, которую она хотела услышать на одре. И теперь, как мне казалось, она ее слышала. И еще мне казалось, будто у всех, как и у меня, такое чувство, что мы на уроке и поем по распоряжению учительницы, которой мы всегда так охотно подчинялись. После того как отзвучала песня, из полукруга, который мы образовали, вышел Краус и медленно и внушительно произнес следующее: «Спи, вкушай спокойное, сладкое отдохновение, милая фройляйн. (К ней, мертвой, он обращался на ты. Мне это понравилось.) Ты избежала трудностей, освободилась от страха, от земных забот и печалей. Мы пропели тебе песнь, как ты хотела. Осиротели ли мы, твои воспитанники? Так нам кажется, так и есть. Но тебя, так рано усопшую, наша память сохранит навсегда. Ты будешь жить в наших сердцах. Мы, твои юнцы, выкованные и руководимые тобой, скоро разлетимся в поисках выгод и крова и, может статься, даже не увидим больше друг друга. Но мы всегда будем помнить тебя, воспитательница, ибо посеянные тобой в нашей душе мысли, знания, чувства будут вновь и вновь возвращать нас к тебе, созидательница того доброго, что в нас есть. И это будет происходить совершенно произвольно. Будем ли мы есть, при взгляде на вилку мы будем вспоминать о том, как ты учила нас держать ее, как ты учила нас вести себя за столом, и сознание того, что мы все делаем так, как ты учила, будет возвращать нас к тебе. Ты будешь царить, властвовать, жить, думать, петь и звучать в нас дальше. Может быть, кто-нибудь из нас, воспитанников, добьется большего в жизни, чем остальные, и при встрече не захочет узнавать бывшего соученика, все возможно. Но он неминуемо вспомнит тогда о пансионе Беньяменты и о тебе и устыдится того, что так быстро и надменно забыл твои заповеди. И он протянет тогда руку своему товарищу, брату, сочеловеку. Чему учила ты нас, почившая ныне в бозе? Ты всегда говорила нам, чтобы мы были скромны и послушны. Этого мы никогда не забудем, как никогда не сотрется в нашей памяти облик той, которая нас этому учила. Спи спокойно, глубоко почитаемая нами. Пусть дано тебе будет видеть сны! Пусть нашепчет тебе время сладкие сновидения. Да преклонит верность, счастливая от близости к тебе, свои колена пред тобой, да сплетут тебе венок из слов любви благодарная привязанность и

неувядающая нежная память. Мы, воспитанники, споем тебе еще раз и уверимся в том, что твой одр стал для нас радостным, избавительным алтарем. Ведь ты учила нас так молиться. Ты говорила: песня — это молитва. И ты услышишь нас, и мы станем думать, что ты улыбаешься нам. Наши сердца разрывает на части вид твоей неподвижности, неподвижности той, чьи движения были для нас как окропление взбадривающей живой водой. Да, нам больно. Но мы справимся с этой болью, и ты, нет сомнения, хочешь этого. Итак, мы бодры. И поем в знак послушания тебе». Краус вернулся в наш строй, и мы снова запели, так же приглушенно и тихо, как до этого. Потом мы, один за другим, подошли к кровати и поцеловали руку мертвой фройляйн. И каждый из нас что-то произнес. Ганс сказал: «Я расскажу обо всем Жилинскому. И Генрих тоже должен знать это». Шахт произнес: «Прощай, ты была такой доброй». Петер: «Я буду следовать твоим заветам». Потом мы вернулись в класс, оставив брата наедине с сестрой, директора с директрисой, живого с мертвой, одинокого с одинокой, согбенного горем с отрешившейся от всех бед, господина Беньяменту с фройляйн Беньямента.

Я должен был проститься с Краусом. Он ушел от нас. Погас свет, закатилось солнце. Чувство такое, будто с этих пор в мире может быть только вечер. Прежде чем закатиться, солнце, подобно Краусу, бросает на мир прощальные багровые лучи. Под конец он еще раз наскоро выругал меня, показав себя напоследок во всей красе торжествующей справедливости. «Адъё, Якоб, работай над собой, совершенствуйся», — сказал он мне, почти сердясь на то, что ему приходится давать мне руку. «Я ухожу, ухожу служить. Надеюсь, и ты скоро последуешь за мной. Во всяком случае, тебе бы это не повредило. Желаю тебе настоящих ударов судьбы, чтобы ты мог поумнеть. Тебе, конечно, нужна изрядная трепка. Не смейся хотя бы на прощание. Правда, тебе все сходит с рук. И кто знает, может, обстоятельства сложатся так по-дурацки, что жизнь вознесет тебя. Тогда ты сможешь по-прежнему предаваться бесстыдным насмешкам, и упрямству, и надменности, и праздности, и всем тем порокам, которые составляют твою суть. Сможешь выпячивать грудь, кичась всем тем, от чего не захотел избавиться здесь, в пансионе Беньяменты. Но я надеюсь, что заботы и беды возьмут тебя в свою суровую, стачивающую пороки школу. Краус, как видишь, говорит малоприятные вещи, но он, может быть, больше желает тебе добра, чем те, кто будут льстить твоему самолюбию счастливчика. Работай побольше, а желай поменьше. И еще одно: пожалуйста, забудь меня, забудь совсем. Мне было бы очень не по себе, если б я знал, что всякого рода междупрочимные мысли посещают тебя и на мой счет. Так что, мой милый, заруби себе на носу: Краус — плохой объект для шуточек такого вот фон Гунтена». — «Милый ледяной человек! — вскричал я, обуянный страхом утраты. И хотел обнять его. Но он воспрепятствовал этому самым простым в мире способом: взял и ушел. Навсегда. «Сегодня это был еще пансион Беньяменты, завтра, без него, пансиона не будет», — сказал я себе. И пошел к господину директору. Чувство было такое, будто мир дал широкую трещину — полыхающую пламенем, грохочущую грохотом. С Краусом ушла половина жизни. «Отныне начинается новая жизнь!» — пробормотал я. Все было, в сущности, очень просто: я был расстроен и немного озадачен. Зачем же нырять в эти красивые слова? Перед директором я склонился глубже обычного и нашел нужным сказать: «Добрый день, господин директор». —

«Спятил, что ли, старина?» — крикнул он. Он подошел ко мне и хотел меня обнять, но я резко оттолкнул его руку. «Краус ушел», — сказал я очень серьезно. Мы молчали, созерцая друг друга.

Потом господин Беньямента сказал спокойным деловым тоном мужчины: «Сегодня я раздобыл места и для других твоих товарищей. Остаемся мы трое — ты, я и она, лежащая на кровати. Мертвую (отчего бы не говорить спокойно о мертвых? Они ведь тоже живут. Не так ли?) увезут завтра. Думать об этом отвратительно, но не думать нельзя. Сегодня мы еще вместе, все трое. И будем бодрствовать всю ночь. Будем говорить с тобой у ее одра. Стоит мне вспомнить, как ты пришел сюда не то просить, не то требовать, чтобы тебя приняли в нашу школу, меня так и подмывает расхохотаться от переизбытка радости жизни. Мне за сорок. Старость ли это? Была старость — до тех пор, пока мне не попался ты, юный. С тобой и сорок — возраст крепкого, зеленого бутона. С тобой, сыном, начинается новая, свежая жизнь — вообще начинается жизнь. Видишь ли, здесь, в канцелярии, я уже дошел до отчаяния, засох, как мумия, похоронил себя. Я ненавидел, ненавидел, ненавидел жизнь. Ненавидел и старательно избегал всего, что напоминало о движении, о жизни. И тут появился ты, бодрый, глупый, невежливый, дерзкий, полный сил и здоровья и нерастраченной чистоты ощущений, и я, конечно, не скупился на затрещины, хотя с самого начала я знал, что ты не парень, а диво, посланное мне небесами, дарованное мне всемогущим. Да, именно ты был мне нужен, и я всегда втайне смеялся, когда ты являлся сюда со всеми своими дерзостями и грубостями, которые доставляли мне истинное наслаждение, как хорошее полотно ценителю искусств. А разве ты не заметил сразу, что мы друзья? Но молчи. Суровостью я хотел сберечь свое достоинство перед тобой, хотя на самом деле нужно было разорвать его в клочья. А как ты поклонился сегодня мне — ведь одно это может взбесить. Но скажи-ка, что было на днях, когда меня охватил приступ ярости? Я хотел ударить тебя? Или покушался на собственную жизнь? Ты не знаешь, Якоб? А? Тогда, пожалуйста, скажи мне. Живей, ты понял? Что это было? Как? Ну, что ты молчишь?» — «Я не знаю, господин директор. Я подумал, что вы сошли с ума», — ответил я. Мне было не по себе от его оживления и его бурных признаний. Некоторое время мы помолчали. Вдруг я вспомнил о том, что надо бы попросить господина Беньяменту рассказать наконец историю своей жизни. Мысль хорошая. Это может развеять его, отвлечь, может статься, от новых буйных порывов. В этот момент я был убежден, что нахожусь в лапах безумца, и поэтому выпалил скороговоркой: «Да, господин директор, а как же ваша история? Я, знаете ли, не люблю недомолвок. Вы намекнули мне, что вы — лишенный трона властелин. Ну так расскажите пояснее, в чем тут дело. Меня это страшно интересует». Он смущенно почесал у себя за ухом. Потом вдруг разозлился, как-то мелочно разозлился и заорал на меня фельдфебельским тоном: «Уйди! Оставь меня одного!» Я не заставил его повторять это дважды, а исчез в тот же миг. Стыдится ли он чего-нибудь, злится ли на что-нибудь, этот король Беньямента, этот лев в клетке? Я, во всяком случае, опять был рад, что очутился в коридоре и мог прислушаться к мертвой тишине, царившей в комнате. Я поплелся к себе, зажег свечу и стал разглядывать фотографию мамы, которую всегда бережно хранил. Через некоторое время раздался стук в дверь. Это был господин директор, одетый во все

черное. «Пойдем», — приказал он с железной строгостью. Мы отправились к усопшей, чтобы побыть с ней. Коротким движением господин Беньямента указал мне мое место. Мы сели. Слава богу, я хоть не чувствовал усталости. Это было очень приятно. Лицо мертвой оставалось красивым, стало даже как бы более одухотворенным и с каждым мигом становилось все прекраснее, трогательнее и милее. В воздухе как будто парило и тихо звучало слегка улыбающееся всепрощение. Такой был звук. И во всем светлая, ясная серьезность. Ничего жуткого, совсем ничего. На душе стало хорошо, ибо приятен был уже и тот покой, какой возникает от чувства исполненного долга.

«Когда-нибудь позже, Якоб, — заговорил директор, когда мы сели, — я расскажу тебе все. Мы ведь не будем теперь разлучаться. Я совершенно, совершенно уверен в твоём согласии. Завтра, когда я спрошу тебя о решении, ты не сможешь сказать «нет», я знаю. На сегодня достаточно сказать, что я вовсе не какой-нибудь разжалованный король, я это имел в виду фигурально. Хотя были времена, когда Беньямента, который сидит теперь рядом с тобой, чувствовал себя королем, завоевателем, господином, когда жизнь давалась мне, когда все мои чувства и помыслы были устремлены к будущему, когда ноги плавно несли меня по лугам, расстилавшимся подо мной нежными коврами, когда я имел то, на что падал мой взгляд, наслаждался тем, о чем вспоминал хотя бы мимолетно, когда все жаждало дать мне удовлетворение, насытить меня достижениями и успехами, когда я был королем, даже не подозревая об этом, великим королем, не нуждавшимся в том, чтобы отдавать себе в этом отчет. Только в этом смысле, Якоб, был я наверху положения, то есть был молодым, у которого все впереди, и только в этом смысле лишился я трона. Я пал. И отчаялся в себе и во всем. Когда предаешься отчаянию и печали, милый Якоб, становишься маленьким, мелким, и всякая мелочь жизни набрасывается на тебя, подобно прожорливым, прытким насекомым, которые медленно поедают нас, душат, лишают человеческого лица. Так что король — это только фраза. Прошу у тебя, маленький слушатель, прощения, если заставил тебя вообразить скипетр и пурпурную мантию. Но, я думаю, ты и сам догадывался, как на самом деле обстоит дело с моим королевством, о котором можно только вздыхать. Не правда ли, я стал немного доступнее и домашнее? Теперь, когда я не король для тебя? Потому что, согласись, если бывшие короли становятся учителями и основывают пансионы, то они становятся достаточно зловещими директорами. Нет, нет, я всего-навсего радовался будущему и гордился им — вот и все мои королевские угоды и доходы. Потом я в течение долгих, долгих лет влачил жалкое, приниженное существование. А теперь я снова стал, то есть становлюсь самим собой, и на душе у меня так, будто я унаследовал миллион, ах, что там миллион, — будто я стал властелином, венчан на царство. Правда, бывают у меня черные, совершенно беспроглядные часы, когда душа моя бродит впотьмах и ничего в ней нет, кроме ненависти, кроме пепла и угля. В такие часы меня подмывает кромсать все вокруг, убивать. Друг мой, останешься ли ты со мной и после того, как все это знаешь? Можешь ли ты — из симпатии ко мне или из другого какого-нибудь чувства — противостоять опасности, которая ждет тебя, если ты решишься на союз с таким зверем, как я? Достанет ли в тебе гордого упрямства? Упрям ли ты? И ты не станешь считать обиды? Обиды? Какое там, это глупости! Я ведь знаю, что мы останемся вместе. Это решено. Зачем же

спрашивать? Видишь, я еще помню моего прежнего воспитанника. Но ты мне не воспитанник больше, Якоб, а сын. Я не хочу больше учить, наставлять, я хочу жить, то есть созидать, творить, нести на своих плечах. О, с таким товарищем легко переносить любые страдания! У меня есть все, чего я желал, и поэтому я чувствую себя всемогущим и готов с радостью терпеть все. Не будем больше ни думать, ни говорить об этом. Пожалуйста, помолчи. Ты скажешь мне твое мнение завтра, после того как унесут ту, чей последний покой мы здесь стережем, после того как закончится внешний обряд, уступая внутреннему преображению. Ты скажешь да или нет. Знай, что ты абсолютно свободен. Можешь говорить и делать, что хочешь». Я ответил на это тихим голосом, сгорая от нетерпения погугать этого самоуверенного человека: «А как же будет с кормушкой, господин директор? Другим ведь вы добыли пропитание, а мне нет? Это, по-моему, странно. И несправедливо. Я настаиваю на этом. Это ваш долг — найти мне приличное место. Я непременно хочу служить, работать». Как он вздрогнул! Как испугался! Я в душе захихикал. Плутовать веселее всего в жизни. Господин Беньямента печально сказал: «Ты прав. На основании твоего аттестата об окончании тебе положено место. Конечно, ты совершенно прав. Я только думал, думал... что ты сделаешь исключение». Тут я весь закипел: «Исключение? Никаких исключений. Никогда! Это не подобает сыну советника. Скромность моя, наследница происхождения, запрещает мне желать большего, чем получили мои товарищи». Больше я не сказал ни слова. Мне было приятно повергнуть господина Беньяменту в заметное, лестное для меня беспокойство. Остаток ночи мы провели в молчании.

Но пока я так сидел и держал вахту, меня одолел сон. Хоть он длился недолго, но полчаса или чуть больше я был вне действительности. Мне снилось (сон, как я помню, властно и неотвратимо опустился, опрокидывая меня, сверху), что я нахожусь на каком-то горном лугу — темно-зеленом, густо покрытом цветами, многие из которых были в форме поцелуев. Поцелуи то казались мне звездами, то вновь цветами. Все было как в жизни и в то же время как на картине. На лугу лежала девушка неопиcуемой красоты. Мне хотелось думать, что это наша учительница, но я сказал себе: «Нет, это не она. У нас нет больше учительницы». Это был кто-то другой. Но я быстро утешился, я словно увидел перед собой утешение. И услышал его слова: «Истолкуй себе то, что видишь». Девушка была нагой, со всеми своими припухлыми прелестями. На одной ноге у нее был повязан бантик, колебавшийся на тихом, ласковом ветру. Мне казалось, что колеблется и вся блестящая как зеркало картинка, колышется весь сладкий сон. Как я был счастлив! Где-то промелькнула мысль об «этом человеке». Разумеется, так я называл господина директора. Внезапно я увидел его — на высоком коне, в черных, изящных латах. Длинный меч свисал у него сбоку, а конь ржал нетерпеливо, как перед боем. «Смотрите-ка, директор на коне!» — подумал я и закричал, так, что мой крик отразился в горах и ущельях: «Я принял решение!» Но он не слышал меня. Я в муках драл себе горло: «Сюда, господин директор, выслушайте меня!» Напрасно. Он повернулся ко мне спиной. Он смотрел вдаль, в ту жизнь, что суеилась там, внизу. А ко мне не повернул и головы. Чтобы, очевидно, развлечь меня, сон, как карета, стал продвигаться все дальше и дальше, и вот мы, я и «этот человек», то есть, разумеется, Беньямента, оказались в пустыне. Мы бродили по ней,

торговали с аборигенами и были явно очень, очень довольны своей жизнью. Было похоже, что мы навсегда, или во всяком случае надолго, порвали с тем, что принято называть европейской культурой. «А, так вот оно что, — думал я непроизвольно и довольно глупо, — так, значит, обстоит дело». Но как оно обстоит, я не мог бы сказать словами. Мы брели дальше. Тут явилась группа враждебно настроенных к нам людей, но мы рассеяли ее, я даже не заметил, как это произошло. Каждый день один за другим сменялись ландшафты. И каждый день приносил с собой впечатления, которых в обычное время хватает на насыщенное событиями десятилетие. Это было ни на что не похоже. Недели выглядели как маленькие, обкатанные и блестящие камни. Было смешно, было великолепно. «Убежать от культуры, Якоб, — это, знаешь ли, великая штука», — говорил время от времени директор, похожий на араба. Мы ехали на верблюдах. Нравы и обычаи, которые мы наблюдали, приводили нас в восхищение. В повадках местных жителей было что-то волшебное-мягкое, нежное. Отдельные земли словно маршировали или пролетали перед нашими глазами. Величественно, как огромный голубой мир мыслей, проплывало море. То слышался щебет птиц, то рык зверей, то шорох деревьев. «Итак, ты все же согласился странствовать вместе со мной. Я так и знал», — сказал господин Беньямента, которого индусы выбрали князем. Здорово! Хотя и крайне странно, потому что в Индии мы очутились затем, чтобы устроить там революцию. И она, по-видимому, нам удалась. Жить — в этом было такое удовольствие, которое я ощущал каждой клеточкой тела. Жизнь простиралась перед нашими распахнутыми глазами, как цветущая долина. И мы сидели крепко в седле. И преодолевали холодные потоки кишащих опасностями рек, испытывая наслаждение прохлады после лютой жары. Директор был рыцарь, я был его стреманный. «И то славно», — думалось мне. И с этой мыслью я проснулся и стал озираться в комнате. Господин Беньямента тоже уснул. Я разбудил его, говоря: «Как вы можете спать, господин директор. Однако позвольте вам сказать, что я решил следовать за вами, куда вы хотите». Мы подали руку друг другу, а это значило немало.

Я укладываюсь. Да, мы оба, господин директор и я, заняты сборами, подведением итогов, уборкой, перестановкой, упаковкой, и все в таком роде. Мы отправляемся путешествовать. Славно! Этот человек мне подходит, и я больше не спрашиваю — почему. Я понял, что в жизни нужно решительно действовать, а не размышлять. Сегодня прощусь с моим братом. Ничего не оставляю здесь после себя. Меня ничто не связывает. И ничто не обязывает говорить: «А что было бы, если...» Нет, никаких больше «если бы». Фройляйн Беньямента лежит в земле. Воспитанники, товарищи мои, разбрелись кто куда. Если погибну я, сгину, что исчезнет тогда? Нуль. Я как отдельный человек всего-навсего нуль. Но долой перо! Долой жить одними мыслями! Отправляюсь в пустыню с господином Беньяментой. Хочу посмотреть, нельзя ли жить, дышать, желать добра и делать его, спать по ночам и видеть сны посреди дикой природы. Баста! Не буду больше ни о чем думать. И о боге? Нет! Бог остается со мной. Зачем же еще думать о нем? Бог с теми, кто не думает. Итак, прощай, пансион Беньяменты!